

Галина Климова

## Пасташутта

Повесть

В Кремль.

Встать, одеться и — в Кремль. Залечь в ванну, пусть не горячую, пусть теплую. На пять минут.

Солнце выглянуло неожиданным праздником, но идти сил не было, хоть до Кремля рукой подать: от Арбатской площади, где в большой коммуналке бывшего доходного дома она, *гражданка Маршак Маргарита Семеновна, 1903 г. р., домохозяйка, проживает с законным мужем, гражданином Златкиным Ароном Соломоновичем, 1902 г. р. — член ВКПБ, незаконченное высшее, из семьи служащего еврейского религиозного культа — и с двумя несовершеннолетними детьми: сын Владимир (13 лет) и дочь Нина (10 лет).*

Без затей, разборчиво, как под копирку.

Отчеты осведомителей, доносы отзывчивых соседей, анонимки.

Сколько лет бок о бок в одной коммуналке?! И люди-то все хорошие, добрые.

Горячую ванну бы с ароматической солью или с хвойным настоем — забыться и успокоиться. Волна озноба прокатилась по всему телу, и Рита потянулась сначала за пледом, потом — за градусником.

Там, где была правая грудь, — грубая сеть расползающихся мокнувших швов, правая рука — красное бревно. Как у бабы Любы...

После первой операции Арон снял на лето дачу в подмосковном Валуеве, неподалеку от дачи Рыкова. Уже через пару месяцев Рита встала на ноги, повеселела, и жизнь прихорошилась ростками проклюнувшихся желаний и надежд. Но это была лишь короткая передышка. После второй операции улучшения не наступило. Сегодня что-то совсем тяжело.

Беззвучная дрель высверливала под ложечкой узкий ход для рвавшейся изнутри тревоги. Как страшно заснуть... Она пару раз ущипнула себя за щеку и все-таки провалилась в зыбучее пространство, совсем иное, чем то, в котором проходила — и скоро навсегда пройдет — ее жизнь.

---

*Климова Галина Даниелевна* — поэт, прозаик, переводчик. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Автор восьми книг стихов (три из них вышли билингва в Болгарии), двух книг прозы и составитель трёх антологий поэзии. Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2004), финалист Международной премии им. Фазиля Искандера (2018) и др. Живет в Москве.

Сначала из поля зрения выпал зеленый — цвет ее глаз, потом синий — цвет неба. Кто-то положил ей на веки тяжелые, как пятаки, черные кружочки. И когда непроглядная тьма стала ее миром, вспыхнула белая свеча, похожая на перевернутый восклицательный знак. Свеча перемещалась с облака на облако, освещая дорогу, по которой никто не шел. Она вспыхивала и на лесистых плоскогорьях, и на сыпучих песчаных склонах, и ниже — на берегу, у самой кромки воды. Это же — Волга! А это — Жигули, родные Жигули!

Свеча горела уже высоко над водой, у входа в заброшенные известняковые штольни, где они с Ароном первый раз поцеловались. Одна свеча — и столько света. Неужели Хозяйка Жигулей? Рита замешкалась, бежать на зов или... Вдруг очень яркий сполох и снова — глухая тьма.

Она не слышала своих шагов, но видела себя — даже не тень свою — со стороны. Разве так бывает, чтобы живой человек видел себя со стороны? Да еще во тьме?

Хозяйка Жигулей пропала вместе со свечой. Рита рванулась было к штольням, но где — вход? Где дорога? И она заплакала. Слезы, казалось, хлынули не из глаз, а с самой высокой вершины Жигулей — со Стрельной, и разбежались, заполняя длинные разветвленные овраги. Они забурили, закипели. Тьму будто ветер сдул, всё развиднелось: у входа в старинные штольни столпились маленькие веселые старички, похожие на гномов, но без красных колпачков. Маленькие старички были из стекла. Сквозь их хрупкие тельца просвечивали деревья и птицы, яркие мухоморы, утлые лодки с сутулыми рыбаками, а сквозь самого ближнего старичка — дорога, светлая, выбеленная, которая знала, куда идти...

В Кремль?

В ванну? Может, полегчает?

Обычно Рита сама начинала дровяную колонку — вязанка сухих березовых полешек наготове. Огонь поддразнивал языкастой пляской, исчезал, пускался вскачь и гудел, гудел, но Рите удавалось его уgomонить, уговорить: у-у-у.

После ванны — румяная, с глазами, сверкающими, как листья ивы после дождя, — выходила, будто упакованная в новенькую кожу. И кожа поскрипывала точно так — Рита помнила этот звук — как черная тужурка наркома Якова Свердлова, который, наверно, родился в кожаной тужурке, кожаных галифе и кожаной кепке.

Бязевая простыня не казалась грубой. Кровь волновалась, горячилась и пульсировала в голове. Правда, и без ванны Рита знала волнение и бег своей горячей крови, пока не одолела ее проклятая болезнь.

Когда она впервые пришла в Кремль?

Да сразу же, как только тот же Свердлов, всемогущий партийный кадровик, предложил давнему сотоварищу по нарымской ссылке, ныне — новоиспеченному наркому Алексею Ивановичу Рыкову свою отапливаемую квартиру.

И где?

В Кремле. В Большом дворце.

От этих щедрот и Рите перепало. Ведь женой Рыкова была ее старшая сестра Нина. И пока Рита растапливала колонку и мылась, Нина, теперь уже Нина Семеновна, вооружившись очками, читала — не беллетристику, конечно, — или строчила очередной отчет или срочный доклад.

Пришлых родственников пускали в Кремль по делу и просто повидаться, а заодно принять ванну или помыться в бане. Но строго в определенные дни и часы: женский день по субботам с утра, чтобы законные жилички Кремля могли свободно вымыться после обеда или после работы и не рисковать драгоценным здоровьем, прибегая на работу с мокрыми волосами.

Пожалуй, только в Кремле под охраной красногвардейцев, не опасаясь за жизнь, можно было согреться, выспаться и почти досыта натрескаться в столовой. Уж красной, почти дармовой икры — ешь от пуза.

Риту опять потянуло в сон. Она то ныряла, то выныривала, как в детской кроватке-качке на полозьях... *кач-кач, кач-кач, тише, девочка, не плачь, испеку тебе калач...* И опять стук полозьев: *кач-кач, кач-кач...*

— Кто там? — слабым голосом откликнулась сама себе.

— Идка, ты жива тут? Стучу, стучу, а ты ни гу-гу.

С батонем белого, с пакетами и газетными кулками в авоське Нина, сделал несколько шагов, остолбенела, увидев изболевшуюся, словно заgrimированную под старуху с восковым лицом, младшую сестру, которой всего тридцать четыре.

— Нина? Ты? Тебе разрешили? — Рита осторожно спустила с кровати отекавшие ноги. Переждав приступ головокружения, пальцами пригладила черные свалывшиеся волосы.

— Первый выход после инсульта. Где аплодисменты, переходящие в овацию? Шесть месяцев постельного режима. Считай, домашнего ареста. Ужасно соскучилась, Идка! Как ты?

— Да что-то не ахти.

Накинув длинный халат, Рита съезжилась от прильнувшей прохлады шелка, подвязалась широким поясом. Даже не шепка, шепочка.

— Садись в кресло, пока Арон не продал. У меня для дорогих гостей есть заначка «липтона».

— Брось, Идка, свои цирлих-манирлих! К черту «липтон». Лучше поговорим, пока можем. И пока можно.

— Смотрю и не верю, ты?! Так неожиданно... почти как в Саратове после Нарыма.

Рита (на самом деле Ида, но Арон переименовал ее в Риту, она и по паспорту теперь — Рита) еще училась в гимназии, но запомнила тот ослепительный день весны, взбудораживший их тусклую провинциальную жизнь.

Через месяц после революции, в марте, прямиком из очередной ссылки — без письма, без телеграммы — Нина нагрязнула в родительский дом.

— Принимайте, любезные, привыкайте! Вот все мое богатство и частная собственность: Алексей Иванович Рыков — мой настоящий гражданский муж.

И — без перехода к объятиям и поцелуям — бесцветным казенным голосом она заявила, задавая себе ритм рукой:

— Рыков — качественный человек. Много испытал и не дрогнул. Профессиональный революционер: 8 арестов, тюрьмы, ссылки, побеги, эмиграция. Лично знает Ленина. Еще с 1903 года, с Женевы. И, главное, не потерял чувство юмора. Человек-шутка. Любит книги и музыку. И, конечно, меня.

Настоящий муж не упустил момент, улыбнулся и несколько по-актерски расшаркался перед папой Сёмой, приложился к ручке мамы Розы, обнялся с Ритой, и при этом — ни звука. Нина отодвинула его в сторону и подвела пред родительские очи симпатичную хроменькую девушку, прижимавшую к себе объемный, обмотанный пуховой шалью кулек.

— Поближе, Дусь, не съедят!

Вместе они стали снимать, как листья с кочана капусты, шаль, одеяльце, байковую пеленку, ситцевую пеленку — и все увидели крепенького детеныша.

— Вот она, спящая красавица, царевна Наталья Алексевна, собственной персоной! Девять кило чистого веса и девять месяцев от роду. Характер боевой — в меня, а улыбка и глазки — папины. Дуся, дай бабушке, пусть потетёшкает! Да, кстати: Дуся, Наташина няня.

Огорошенная свалившимися на голову гостями и новостями мама Роза потеряла дар речи, что случалось нечасто. Сохраняя постную улыбку приличия, она приложила спящую девочку к выдающейся груди, будто на показательных занятиях по грудному вскармливанию. Папа Сёма резко изменил цвет лица и был близок к обмороку.

Протерев очки, он дотошно изучал похожие на барабанные палочки, дрожащие пальцы с коротко остриженными ногтями, сжимая и разжимая то левую, то правую ладонь. На внучку не глянул. Он не скрывал обиды: в редких коротких письмах из ссылки Нина не сообщила ни о новом муже, ни о дочери. И вообще, сильно сторонилась интересов семьи. Просила только книги и заграничные журналы по философии и экономике, которые он аккуратно высылал. От всего происходящего папа Сёма поубавился в росте и сделался почти незаметным, как гвоздь, с размаху вбитый почти по самую шляпку. Но для подтверждения своего наличия громко шмыгнул носом, задрал вверх узкое птичье лицо и прокурлыкал:

— Вэй из мир!<sup>1</sup> А что маленький портняжка Йосель Таршис? Или где-то он теперь не нужен, твой муж Осип Пятницкий? Не могу даже себе представить, подозревает или не подозревает наш бывший, так себе еврейчик, про твоего нового мужа? И про твою довольно-таки не маленькую дочу? Каков пасьянс, а? — Широко разведя руки и обведя прищуренным взглядом лица жены и обеих дочерей, он то ли осекся, то ли нарочно прикусил язык, чтоб не вспылить, не наговорить лишнего, но немедленно, подробнейшим образом обо всем расспросить и услышать, может, ласковые слова, всё простить, сразу же простить и по-отцовски вразумить, дать практические советы... мало ли что в жизни бывает?

Чай с черствым штруделем и вишневым вареньем пили молча, пока Нина не скинулась, как ужаленная:

— Вижу, вы, мама, и вы, папа, что-то не умираете от счастья лицезреть нас. Разве ж это чай? Какие-то писи сиротки Хаси. Всё так плохо с гешефтами? С колониальными товарами?

— Перестань сказать, Нина! — Мама Роза и бровью не повела от такой дерзости и тут же ввернула: — Что подумает твой новый муж?

Рыков хмыкнул в бороду и осветил Нину лучистым взглядом.

— Новый, старый... Вы совсем потеряли вкус к чаю?

— А что такого? Заварка не вчерашняя, утренняя. Лучше расскажи про Нарым. Какой там чай пили? Как жили? Что там за погода? Что за люди? — старалась все сгладить простыми, но такими житейскими вопросами мама Роза.

Погасив накатившее раздражение, Нина справилась с собой, но чай допивать не стала.

— Это долгий разговор... «Бог создал рай, а чёрт — Нарымский край». И все-таки нам повезло. Нарым — столица для ссыльных. Для сильных, значит. Правда, есть и Туруханск. Еще северней. Они соперничают и даже ревнуют друг друга — как Москва и Петербург. В России якобы две столицы, и в каторжной Сибири. — тоже. Так исторически сложилось. Конечно, климат — это что-то с чем-то. Не для людей. Зима лютая. Неделю метель, неделю пурга, ветры — круглосуточно. А летом — вот уж когда небо с овчинку покажется — тучи, полчища кровососов: мошка и гнус. Буквально со свету сжимают. До мяса сжирают. Унылые земли. И море гиблых болот — до горизонта. Наш Нарым — кочка, островок, пуп земли. Не убежать. Но все-таки случилось. Продумывали каждый шаг, собирали деньги, искали верных людей. Помогали тем, в ком партия особенно нуждалась.

— Вы-то помогали, а кто вам помогал? Или партия про вас забыла?

Папе Сёме никто не ответил, и Нина продолжала.

— Нарым — обжитое место. Туда ссылали стрелцов, бунтовщиков, потом — декабристов, народников, либералов. После 1905 года прибыло несколько сот революционеров сразу. Народу стало, как воды в половодье. Думаете, ссыльные — сброд отверженных? Мы все — подтверди, Алексей Иваныч! — Рыков несколько раз мотнул головой, — мы все: большевики (в большинстве), меньшевики, эсеры,

---

<sup>1</sup> Вэй из мир! (*идиш*) — Боже мой!

анархисты — коммуна, товарищество, вдохновенное братство. Для ассортимента, конечно, и урки, но они особняком. А мы все — молодые, горячие, с верой в революцию. По-другому не выжить. Какие люди прошли через Нарым: Свердлов, Куйбышев, Сталин...

— И вы с Алексеем Ивановичем далеко не отстали, след в след топаете, — вставил папа Сёма, и его юркие глазки ускользнули от прицельного взгляда дочери.

— Да, а что? Все — исторические личности. Вы еще услышите о них. И о нас, может, тоже. Мы запросто общались, спорили, бражничали. Нарымское товарищество — навсегда. Нарым заставил меня (и не меня одну) переосмыслить судьбу. Разве сейчас я похожа на тихую домашнюю мышку?

— Ничего себе мышь! Вот наша домашняя прикормленная Мышка, — и мама Роза притиснула к себе сидящую рядом младшенькую, которая слушала сестру с восторгом и завистью гимназистки.

— Вы, мама, всегда любили только Идку. Не меня, не Филиппа, не Лену. Только свою, сюси-муси, досю-Идусю.

— Ты — злюка и вредина! И всегда такой была, — и Идка, счастливая от осознания своей значимости в семье, пригрозила сестре детским пальчиком.

— Тебе слова не давали.

— А я без спроса. И еще. Мне ужасно хочется наконец узнать: на какие-такие денежки ты, Ниночка, ездила в Петербург? По какому такому секретному партийному поручению, что тебя сразу же и заарестовали? Почему-то именно тогда исчезло мамино кольцо с изумрудом...

— Перестаньте, мэйдэлэх!<sup>1</sup> Вы ж родные сестры. Как я могла не любить тебя, Нина, если ты вышла нашим первенцем?! Как у вас Наташенька... Целых четыре года ты была нашим солнышком. Потом родились Филипп и Лена, потом уж, когда не ждали, Идка, последыш. Но первой была ты.

— Что поделаться, если вы все выросли и кто куда. С нами только Идка, — то ли пожаловался, то ли уточнил естественный ход событий папа Сёма.

Нина подсадовала, что разговор какой-то глупый и мелкий. Хотелось представить свою семью и себя, конечно, в другом свете, выглядеть крупней, значительней и соответствовать — ведь рядом новый муж, известный революционер, большевик, умница и остролов Рыков, который видит, может, больше, чем надо.

— Теперь я — социально осознавшая себя и самостоятельная женщина, большевичка. Мой внутренний мир изменился. — К Нине вернулся тот протокольный, деревянный голос, который так напрягал родню, но не Рыкова.

— Что вы кушали там? Откуда брали мясо, овощи, хлеб?

— Вы, мама, всё за еду да за еду. Торговали две лавки: мясная и зеленая. Рядом пекарня. Обеды готовили сами. По очереди. Мужчины охотились, рыбачили — нельму ловили. Вот уж деликатес. Что еще? Каждый месяц приходило казенное пособие по шесть с полтиной рублей. Зимой и летом полагались расходы на одежду и обувь. Денег хватало. Не бедствовали. Жизнь была налажена. И даже надежна. Постоянная работа запрещалась, а временная — извольте, если не лень. Я репетиторствовала. Очень пригодился немецкий. Сколько раз говорила: спасибо, дорогие родители, что принуждали учить языки. Кому-то из ссыльных помогали родственники, кому-то жертвовали местные купцы и горожане. Например, купец Родиков. Он не пожалел просторного дома — отдал под театр. Мы поставили «Ревизор», «На дне»... Сами сочинили пьесу про Жанну д'Арк.

— Чтоб я так жил... Пьески сочиняли! От скудости жизненных впечатлений, что ли? Играли в свободу? Какие там еще цуресы<sup>2</sup>, к чему готовиться? — вклинился папа Сёма, которой никак не мог переварить новые события и справиться с обидой на дочь.

<sup>1</sup> Мэйдэлэх (*идиш*) — девочки.

<sup>2</sup> Цуресы (*идиш*) — неприятности, огорчения.

Мама Роза осадила мужа хорошо известным ему движением глаз.

— Рассказывай, доча! Твоим родителям рано или поздно, но надо знать всё.

— Так вот, я в роли Жанны. В военной форме, с деревянным мечом и щитом. И, представьте, моя Жанна нисколько не безумная, но царственная. Восторг! Публика бисировала, топала ногами. Я чувствовала себя, как на сцене МХАТа. Наши местные с расфуфыренными женами и детишками, надушенные какими-то ядерными одеколонами, все на самых дорогих местах, демонстрировали чувство собственного достоинства. По несколько раз приходили. Под аккордеон, под «Марсельезу» мы читали стихи поэтов французской революции. Именно на них выросли почти все русские революционеры. Оттуда Свобода, Равенство, Братство! Особый дух... И все-таки одухотворенных революционеров совсем немного, гораздо больше — одержимых, правда, Рыков?

— Ты про библиотеку расскажи, — выдерживая тему, просуфлировал Рыков.

— Да, открыли библиотеку. В крестьянском доме. Для начала в складчину собрали книги и журналы. Потом стали выписывать из-за границы на европейских языках. И совсем не для декорации. Все учили кто английский, кто немецкий, Алексей Иваныч накинудся на итальянский. По-немецки и по-английски он объясняется легко.

Осенью двенадцатого года — стояло бабье лето — в Нарым доставили новенького. Это был Рыков. И мы оба влюбились по уши, будто нам не за тридцать, а лет по восемнадцать. Жить не могли порознь. Поселились в одной избе, семейно. Конечно, я терзалась, что замужем и разобью сердце бедного Оси Пятницкого.

— Насквозь-таки истерзалась, — не унимался папа Сёма, обкусывая ноготь безымянного пальца с такой страстью, что выступила капелька крови.

— Конечно, не хотела вас огорчать. Молчала, но совесть грызла. Мы с Алексеем Иванычем очень остро ощущали право на случившуюся с нами любовь — как на высшую человеческую ценность, которая наравне со свободой. И готовы за нее бороться. Вот от такой любви и родилась Наташенька. Не обижайтесь, прошу вас! Не сердитесь, что скрыла. Наша любовь принадлежала только мне и Рыкову. Я ж догадывалась, что с вами будет... Простите, родные мои, татэ<sup>1</sup>, мамэлэ<sup>2</sup>, простите, и я буду совершенно счастлива! — Голос Нины утратил пафос, потеплел, на сверкавшие глаза готовы были навернуться слезы раскаяния. Мама Роза поднялась из-за стола, подошла к мужу, обняла пухлыми руками за голову и утешительно поцеловала его в щеку.

— Разве ж мы так тебя воспитывали, чтобы таиться и держать под замком такое сокровище, такое драгоценное счастье? Из жалости к нам... Как только язык повернулся? Ты слышала, Розочка? И поверила? Ай вэй, ай вэй, — почти всхлипнул растроганный папа Сёма и сдвинул виски, стрелявшие убийственной болью.

— Саратовская родня Алексея Иваныча очень поддержала деньгами. Широкие люди. Вот откуда у нас Дуся. — Нина вышла из-за стола и встала у окна, чтобы родные увидели ее счастливой и свободной. — После Февральской революции — воля! Пришла воля. И Нарымскую ссылку ликвидировали. Тут-то мы, на радостях, подхватились — и к вам в Саратов. Но — проездом, ненадолго. Рыкова ждут в Москве. Яков Свердлов ждет. Там все кипит и бурлит.

Она умолкла.

Страшный грозовой фронт прошел стороной. Домашняя атмосфера прояснилась и стала такой понятной, что общее счастливое будущее читалось, как на ладони. Они со вкусом перебрали последние сплетни о молодом саратовском раввине и соседях, поплакались на цены, которые режут без ножа, поговорили об отречении царя и действиях Временного правительства. Потом обсудили, какую профессию выбрать

<sup>1</sup> Татэ (*идиш*) — папа.

<sup>2</sup> Мамэлэ (*идиш*) — мамочка.

Идке: пойти, как в свое время Нина, в фельдшерско-акушерскую школу или стать машинисткой-стенографисткой? Что лучше по нынешним временам?

Рыков, обычно стеснявшийся своего заикания, вскоре на равных вступил в разговор, острил и даже продекламировал, вполне уместно, что-то некрасовское про Волгу. Поглядывая на жену, сверялся: нравлюсь? Нина улыбалась, поощряла и взглядом, и энергичными кивками: давай-давай, мол, не тушуйся. Все подпали под его обаяние. Было в Рыкове что-то от чеховских персонажей или даже от самого Антона Павловича — только без пенсне: такая же прическа, интеллигентская бородка, выразительные глаза, крупный породистый нос. Правда, ростом Рыков до Чехова не дотянул, но зато широкоплеч и кряжист. И темперамент, похоже, горячий, страстный, и характер — напористый. Эмоции захлестывают, впечатления лишают сна, гомонят живыми картинками, как кадры из новомодной фильмы. И приводят к истощению. Но он выработал в многочисленных тюрьмах и ссылках спасительный навык спать сидя и даже стоя, отключиться на пять-десять минут, а потом встрепенуться для новых дел свежим и энергичным.

Папа Сёма вскочил из-за стола, чуть не опрокинув чашку с холодным жиденьким чаем, и засеменял в чулан, где на полке стоял заветный хрустальный штоф — пусть будет! — с домашней грушовкой, лучше которой ничего на свете не было. Наливку разлили по граненым стеклянным стопкам.

— Шойн, шойн, киндэр!<sup>1</sup>

Папа Сёма размяк, как старая войлочная игрушка. Поправил на переносице очки, и за увеличительными стеклами — все увидели — неправдоподобно крупные слезы.

— Детоньки мои, большие и малые, после всего, что вы пережили и что еще — жизнь страшная штука! — придется пережить и вам, и нам, я вслух завещаю: пусть в саду ваших любящих сердец каждый день будет как цимес мит компот!<sup>2</sup>

Рыков вспыхнул и благодарно улыбнулся: приняли, признали. А уж после стопочки, после первой и второй, в легком подпитии он был совершенно неотразим.

Вот тут-то Нина и скомандовала:

— Настраивай свою трехструнку! Мамочка, папочка, Идка, Алексей Иванович гениально играет на балалайке и поет. Очень задушевно. Когда поет, он не заикается. Давай, Рыков, жми!

— Тум-балалайке, шпиль-балалайке, — весело подначивал и подтанцовывал папа Сёма.

— Ой, ой, эйн момэнт! Вы тут строите стульчики парадом. — И мама Роза упорхнула в спальню, а вышла неподдельной матроной из приличного общества: на груди дышала, как порхала, бриллиантовая брошь-бабочка, в ушах веселились переливчатые сапфиры, на указательном пальце — такое же кольцо.

— Я тут ничего не пропустила? При всем моем богатом воображении, не сразу поняла, что у нас праздник. Да еще с концертом. А я, извиняйте, в затрапезе. Самый момент исправиться. Цацки надо носить, а не держать под спудом. Мотайте на ус, мэйдэлэх, камни будут ярче! Они тоже обожают женское тело.

— Вы ж не уснете, Розариум, ваши цацки сильно блескучие. Хотите, сделаем сегодня ночной опыт? А сейчас мы сгораем от нетерпения: кто-то здесь, кажется, собирался петь?

Рыков устроился на стуле в центре гостиной, прижимая к груди расписную, в красных маках, балалайку, будто согревая. Низко наклонившись и проникая в самое нутро инструмента, что-то там выглядывая и выслушивая, затянул несильным мягким тенором неаполитанскую песню «Вернись в Сорренто» — к изумлению благодушного

<sup>1</sup> Киндэр (*идиш*) — дети.

<sup>2</sup> Цимес мит компот (*идиш*) — слаще сахара.

семейства Маршаков совсем не в тему революционной борьбы или нарымской ссылки. Разве что про любовь? Потом пошли русские романсы. Мама Роза, сложив по-концертному руки на бриллиатовой груди и вытягивая то влево, то вправо короткую полную шею, подпевала в терцию уверенным меццо-сопрано. Потом втянулись все. И на песне «Среди долины ровныя, на гладкой высоте...» грянул такой мощный семейный хор, что хоть сейчас на сцену. И грех было между песнями не пропустить — для куражу — по стопарику.

Выпить Рыков был мастак, чем сразу вызвал горячую симпатию народных масс, особенно когда отменил «сухой закон» времен Первой мировой. Недаром в его честь четвертинку «белого» 30-градусного вина (читай: водки, но на 10 градусов слабей Царской) стоимостью 1 руб. 75 коп. называли «рыковка» или «полурыковка». Гадость, по отзывам, была редкостная.

На посту наркома Внудел в первом советском правительстве Рыков почти не задержался — всего девять дней. Но память о первом декрете от 10 ноября 1917 года «О рабочей милиции» жива и сейчас. День милиции (теперь, с легкой руки президента Медведева, полиции), ставший профессиональным праздником, стражи порядка отмечают и чтут уже более ста лет.

От тех девяти дней Рыкову осталась квартира в Кремле.

На самом деле, совсем не пафосная комната в бывших покоях царских детей: огромная, всегда сырая и холодная, с серыми стенами и сводчатыми потолками. Резонанс не хуже, чем в Большом театре. Комнату разгородили высокими книжными шкапами: в одной половине — Рыков с женой и дочкой, в другой — его сестра Фаина со своими двумя детьми.

Рыковы соседствовали со Свердловыми, Осинскими, Кобахидзе — четыре семьи, огромная коммуналка. Под ними — Дзержинские, Владимирские и пролетарский поэт Демьян Бедный со своей знаменитой библиотекой, с собакой и двумя забавными медвежатами. В Офицерском корпусе обустроились Ульяновы: Владимир Ильич с Надеждой Константиновной и тещей.

В километровых кремлевских коридорах, на поворотах, в закоулках, углах и тупиках стояли кромешная темень и мертвая тишина.

Рите быстро оформили пропуск в Кремль, с особым тщанием хранившийся в ее итальянском ридикюле. Лишь только накатывала мерзкая волна мерехлюндии и в голову впивались шипы мигрени, Рита телефонировала в Кремль и — к Троицким воротам.

На спуске с Ваганьковского холма виднелся разметавшийся по Александровскому саду черно-серый хвост живой очереди. Казалось, там чудовищный ящер, который, едва успев отбросить старый хвост, мгновенно отращивал новый, еще длиннее. Бездомные, больные, растерянные, голодные, продрогшие до костей, убогие — все тянулись в Кремль, как в райское место, где было тепло, сытно и безопасно. Новый кремлевский рай стремительно обживали наркомы, их важные замы, исполнительные начальники управлений, суетливые уполномоченные, а с ними жены, дети, престарелые родители, тещи, свекрови, няньки... Тут даже и московского Кремля — крупнейшего из русских кремлей — с его громадными площадями, монастырями, соборами и подворьями, служебными корпусами, многочисленными помещениями с подсобками и километровыми подвалами на всех не хватало.

*Государство в государстве? Территориальное образование? Общежитие, коммуналка?*

*Под одной крышей, через стенку или через коридор терпели друг друга, ненавидели и дружили, сочиняли доносы и писали труды по теории и практике революции, флиртовали, скандалили, гоняли чай и мирились высокопоставленные жильцы и жилички, обитатели отдельных квартир, просторных комнат с удобствами, убогих каморок и темных пеналов.*

*Там же теснилась обслуга: домработницы, уборщицы, прачки, дворники, банички, повара, официантки, слесари, столяры, истопники, портнихи, продавцы, парикмахеры, телефонистки, телеграфистки, врачи, медсестры, водители роллс-ройсов и линкольнов — этих бронированных крепостей на колесах из гаража особого назначения. И, конечно, охрана, охрана, охрана... Да мало ли кто еще, без кого не прожить и не заснуть спокойно?*

*Все они — насельники кремлевского городка, по образу и подобию которого значительно позже на просторах одной шестой части суши станут расти и множиться военные городки, засекреченные моногорода и наукограды, не обозначенные ни на одной географической карте. А еще позже, на наших глазах, за надменными заборами из профнастила поднимутся охраняемые коттеджные поселки «новых» русских с дворцами «под Европу», с псевдозамками из сказок братьев Grimm — с готическими башенками, бойницами, мраморными каминами из «Тысяча и одной ночи» — с зимними садами и фонтанами.*

*Все закрытые территории похожи на резерваты. В природе резерваты создают для сохранения редких, исчезающих или вымирающих видов фауны или флоры. А в обществе — для охраны человеческих особей и отдельных семейств? Их социальной адаптации или акклиматизации в новой реальности? Преемственность, если не генетики, то исторических традиций, соблюдена. Например, резерват на Рублевке, рядом с Жуковкой и Барвихой, где десятилетиями обитали ответственные партийные и советские работники. Или резерваты на Николиной горе, в Мозжинке, в Переделкине с их плановыми поднадзорными гнездовьями научной и творческой интеллигенции.*

Рита по разным признакам все больше ощущала, что Нина теперь не просто старшая сестра. Она — жена самого Алексея Ивановича Рыкова, ставшего через две недели после смерти Ленина его преемником — председателем Совнаркома СССР и РСФСР.

Почему именно Рыков?

Как ему удалось?

Какие люди готовились возглавить правительство — Бухарин, Сталин, Каменев, Семашко, Крестовский!

Все думали, будет Бухарчик — любимец партии, теоретик революции, главный редактор «Правды», неутомимый в работе, очень бойкий и яркий.

Рыков — тоже очень деятельный, тоже — личность, но скромный, мягкий, совсем не оратор и не теоретик — без платформы, без никакой программы развития страны.

Бухарин и Рыков — такие разные, но оба — редкой во все времена порядочности.

Жаль, что Рыков заика и глуховат. Говорит, отморозил уши в Архангельской ссылке, когда работал репортером в газете. С тех пор — бесконечные отиты. У Нины своя версия: в 1902 Рыков организовал в Саратове многотысячную первомайскую демонстрацию и попал в лапы черносотенцам. Его отходили прикладами чуть не до смерти. С окровавленным лицом, с разбитой головой едва утек через подворотни, проходные дворы, переулочки — ищи-свищи... От сильного сотрясения мозга почти потерял слух. Потому, наверное, такой тихий, прибитый.

Жаль, что запойный. Не по авторитету, не по должности. Его слабинку знали, потому ублажали, спаивали и грубо использовали в своей корысти и безудержных кремлевских играх.

Только Нина, ответственная в Наркомздраве за здоровье советских детей, не давала мужу спуску. То графинчик перепрычет, то под руку толкнет так, что стопка вдребезги. Ходи да облизывайся. Рыков не раз принимал решение покончить с запоями, давал *честное большевистское* и бросался за помощью к гениальному Бехтереву — но, увы! И все-таки не унывал. Он преклонялся перед медициной, благоговел перед докторами, по-детски веря в их всемогущество. Задолго до революции просил разрешения у самарского губернатора Якунина на выезд в Германию по

причине прогрессирующей глухоты, но получил отказ. Уже с Ниной дважды Рыков ездил к докторам в Германию и Швейцарию, за что Ленин публично на собрании товарищей не преминул упрекнуть: *непатриотично, батенька!*

После тяжелого инфаркта, который пришелся как раз на последние дни жизни Ленина, Рыков и сам был на грани, настолько слаб и плох, что не смог поехать в Горки проститься с любимым вождем. И от этого страдал — даже плакал — сильнее, чем от болей в сердце. Через полгода, по настоянию однопартийцев Рыков инкогнито выехал с Ниной на четыре месяца долечиваться в Рим. Там их гидом и переводчиком стал молодой архитектор из Одессы Борис Иофан, в которого они влюбились в первый же день,

Итальянские эскулапы, врачующий воздух Италии или могучий организм — кто знает? — но в Москву Алексей Иванович вернулся здоровым.

При всех известных ранее *за* и *против* преемником Ленина стал именно Рыков, надежный, тихий и старательный исполнитель, что многим было на руку.

Когда долгожданную новость объявили по радио, Рита, закусив посудное полотенце, замерла.

— Уж не завидуешь ли, женка? Думаешь, друзья познаются в беде? Проверка счастьем или успехом куда верней. Кто-то затаился, и слова в горле застряли от зависти, кто-то тихо дохнет от ненависти, а кто-то искренно радуется, — Арон, громко клацая зубами и страшно вращая глазами, надвигался на Риту, готовый сцапать слабую жертву.

— Чего ты? Я завидую? Наоборот, люблю Алексея Ивановича как родного. И боюсь — как за родного.

Арон обнял жену и разъяснил без всякой лирики:

— Всем понятно, Ленина заменить некем. Ленин — гений. И сейчас именно такие, как наш Рыков, — умный, честный, убежденный и, главное, без фанатизма — нужнее всего. Он держит равновесие между левыми и правыми, между Бухариным и Семашко. Все правильно.

В те лютые зимние дни, огласившие плачем и прощальными гудками заводов и фабрик пространство осиротевшей страны, проводившей в последний путь Ленина, в те знаковые лично для Рыкова дни перед дверью его кремлевской квартиры положили новенький пестротканый половичок.

По-семейному, с застольем Рыковы и Златкины собирались обычно пару раз в год: в дни рождения Нины и Риты. Не время было по гостям расхаживать, чай распивать — страну поднимали, строили социализм. Но когда встречались, Рита не стеснялась «красного премьера» и давала себе волю похохотать и поделиться с Алексеем Ивановичем тем, о чем не решалась сказать сестре. Прежде всего, Арону нужна новая работа: из «Чаеуправления» хорошо бы уйти, какие-то там мутные людишки, темные делишки. И никаких перспектив. Рыков понимающе кивал и обещал что-нибудь подыскать. Он хорошо знал инициативность и предприимчивость Златкина по марксистскому кружку в Саратове, где Арон еще гимназистом прибил к политссылным и в шестнадцать лет, по совету Рыкова, вступил в РСДРП.

Рита видела: Рыков и Нина проросли друг в друга и держались на общей нити горения. Соратники.

Почему у них с Ароном иначе? Что-то не так в ней самой?

Она — совсем из другого теста. Не из простого — мука и вода, как хлеб или маца, которые всегда в аппетит и никогда не надоедают. Нет, она из какого-то сдобного, сладкого, которое быстро приедается. Хотелось быть похожей на Нину. Но откуда взять революционное призвание? Это как музыкальный слух. Если уж наступил

медведь на ухо, то навсегда. Кто она? Мамэлэ, клушка домашняя — гефилте фиш<sup>1</sup>, собачий вальс да песенки на пианино? Чего-то главного, на чем стоит семья и что под силу только женщине, Рита чувствовала, ей не доставало.

Родные сестры, но не скажешь, что дети одних и тех же родителей.

В детстве Нина много читала, хороводилась с мальчишками и даже дралась, и все куда-то рвалась из дома, где ей было тесно и скучно. Рита вышивала гладью думочки и салфетки, выращивала герань, чтоб разноцветная на всех окошках, и через эти слепенькие окошки с двойными рамами вглядывалась в мир, который больше пугал, чем притягивал.

Товарищ Нина — железная большевичка. Хоть на вид вполне себе буржуазная фифочка в шляпке, талия в рюмочку, и кажется, что все аресты и ссылки — не про нее. В мужьях — горластый коминтерновец Осип Пятницкий, теперь — тихий Рыков «со взором горящим». В друзьях — одни революционеры. Разве сравнить их по человеческому масштабу с обывателями: коммерсантами, аптекарями, инженерами-путейцами, врачами и даже с адвокатами? Нина часто говорила, что революционеры с молодых ногтей напитаны особым духом, чего у других не было. Разве что у знакомого раввина, их родственника, заходившего к родителям в Ростове-на-Дону, когда они там жили еще маленькими девчонками.

До подробностей помнила Рита, как за считанные дни перевернулась жизнь в их благополучном Саратове. Такой революции и такой кровавой власти она не желала. И Нину с Рыковым и Арона не понимала. Правда, именно их ни в чем и не винила. Но допытывалась: где же обещанная справедливость? Куда делись милосердие, сострадание, жалость? Сами слова, в одночасье вдруг обесцененные, были с корнем выведены из обращения. С кем равенство и братство? С пьянью и бандитами? С обезумевшей босотой и гольтепой?

Доходчиво, как учитель начальных классов, Арон объяснял ей про революционную ситуацию и диктатуру пролетариата. Ему нравилось агитировать на заводах и в мастерских. Он сочинял понятные листовки. Например, «Пролетариат — умный мозг революции», «Только в революции — настоящее счастье каждого, кто считает себя ЧЕЛОВЕКОМ». Или «Кухаркины дети, ваш час пробил!» И Рыков, особенно при Рите, нахваливал Арона, называл *прирожденным пропагандистом*.

Арон мечтал о справедливом счастливом мире и часто повторял стихи любимого Надсона:

...не будет на свете ни слёз, ни вражды,  
Ни бескrestных могил, ни рабов,  
Ни нужды, беспросветной, мертвящей нужды,  
Ни меча, ни позорных столбов.

Вскоре Рита стала улавливать в кошмаре происходивших событий некий замысел — лейтмотив вселенской какофонии, от которой кровь стыла в жилах, но — ни слезинки, чтоб выплакать бессловесный, почти утробный страх.

Свадьба с Ароном была совсем не такой, о какой мечталось: молодежь, синий рупор новенького граммофона, романсы, танцы-шманцы — вальс, падекатр, тустеп, шимми. Родители стояли горой за традиции: только еврейская свадьба, только идише хасэнэ! Особенно напирал и упорствовал отец Арона, Соломон, когда-то известный в Самаре преподаватель вокала и тенор, выступавший под псевдонимом Златов. В охাপку с Лизочкой, со своей тишайшей женой, не имевшей, казалось, не только своего голоса (может, певцы специально выбирают безголосых жен?), но и мнения, с

<sup>1</sup> Гефилте фиш (*идиш*) — фаршированная рыба.

младшими детьми Борей и Лёвой, они без промедления примчались из Баку, куда в 17-м на первом же проходящем поезде сбежали, спасаясь от кровопролитного смерча октябрьской революции, захлестнувшего Самару.

И те, и другие родители сошлись легко. Свадьбу сговорились провести не в синагоге, а в доме невесты, у Маршаков. В просторной гостиной, кроме пары сундуков, длинного обеденного стола с плетеными стульями и дубового резного буфета, раскинулись в кадках жирный фикус и веерная пальма, а между окон замерло пианино с бронзовыми канделябрами без свечей. Всю эту обстановку сдвинули к стенам, и оказалось, что места для большой хупы предостаточно. Соломон вызвался сам — вместо раввина — совершить свадебный обряд. Во-первых, свадьбу назначили сразу после окончания шабата. Это по правилам. Во-вторых, практично. Какая-никакая, но экономия: тут вам и свадьба, и субботний кошерный ужин с курочкой, с картошкой на шкварках и со свежими овощами с огорода.

Накануне Соломон расчувствовался и столько порассказал о себе и о пережитом, что папа Сёма взялся всерьез лечить свата от нервов проверенной грушовой.

— Примите стопочку, Соломон, за любимого вами меня! А я — наоборот, за любимого, Соломон, вас!

Графинчик уговорили без труда. Соломон то жаловался, то громко обличал, то всхлипывал, вытирая глаза уголком белой накрахмаленной скатерти:

— Потерял сына. Недоглядел, старый перец! Всё пел-распевал и — упустил, профукал и сына, и время. Мой Арон — большевик?! Мой Арон — атеист?! У них, у большевиков, ничего святого, кроме революции. Прямо-таки идолище какое-то! Хотят всё с нуля, будто до них никаких цивилизаций, только обезьяны в джунглях. И вдруг, нате-вам-здасьте: «авангард человечества»! Зачем-то посягнули на календарь, перешли на новое время! Что, разве взошла новая заря? Наступила новая эра — новейшая? Явился долгожданный мессия? Уж не Ленин ли? Хотя, говорят, он тоже с тонюсенькой струйкой еврейской крови... Ох уж эти большевики! Они и праздники новые понавдумывали. Безбожники и грешники, не боятся гнева Всевышнего!

Но Рита боялась.

И на свадьбе очень испугалась, дурочка. Вдруг споткнется? Или шлепнется на пол, когда будет под хупой семь раз обходить вокруг жениха? Страшно под кружевной накидкой. И Арону страшно. Но так захотели родители.

Накануне свадьбы, когда она, окунувшись и очистившись, вышла из миквы, мама Роза, глядя в пол, завела что-то занудное про главный долг женщины и про святость супружества. Иду разбирал смех, и она закусилась нижней губой, чтоб не нарушить надлежащую торжественность момента.

«Может, признаться? — молниеносно проскочило в голове. — Рассказать, что полгода назад у них с Ароном *всё произошло*? И они уже муж и жена?..»

Не рискнула. Затаилась.

Мама Роза отчего-то нахмурилась, вроде даже запнулась.

«Неужели догадалась?»

— Нехорошо мне, доча! — прохрипела мама Роза и, крепко ухватившись за спинку, плюхнулась на стул, скрипнувший от непосильной тяжести. — Сердце трепыхается. Неправильно стучит. Принеси ментолок.

Мама Роза припомнила — с чего вдруг? — как чуть не потеряла любимого мужа.

Ей вскружил голову сын соседа-часовщика, с которым Сёма по вечерам сражался в шахматы. Марк! Залюбленный, рыжий, веснушчатый пай-мальчик. Он готовился в университет. Но, она давно замечала, нахально пялился на нее. И что с того? Она замужем, ей за двадцать. Правда, говорили, что она хороша, как роза Сарона. А бесстыжий Марк себе на уме. Выждал момент, выследил, подкараулил, когда Сёма по делам уехал в Самару, и — шмыг! — в дом. И сразу под юбку. Закричать *помогите!* —

страшно. Схватить за шкурку и к родителям — скажут, соблазнила мальчишку, шикса. Не оправдаться. И она от страха уступила, понадеялась, уйдет — и дверь на засов. И — забыть. И ничего не было. Но он, ненасытный, и завтра, и послезавтра, подстерегал, как птицелов в засаде. От его рук и губ, порхавших мотыльками по ее раскрывающемуся жаркому телу, Роза таяла, как грошовый леденец. И — ужас, позор, грех! — ей это нравилось. Она ждала своего птицелова и хотела, чтобы Сёма как можно дольше не возвращался. Хотя Сёма и горяч, и крепок, но о нежности, наверное, не догадывался. А рыжий мишуген<sup>1</sup> — дуновение утреннего ветерка. И она у него — первая. Марк — со слезами на глазах — признался Розе, когда предложил вместе бежать в Петербург. Она в ответ рассмеялась, потом расплакалась: никогда не бывать ей такой счастливой и молодой. Тайна ее счастья и молодости — Марк.

Когда Сёма наконец-таки вернулся, она в первые пять минут честно призналась в измене. И тут начался жуткий хипеш. Сёма ревел, скрипел зубами, клочкотал и плевался, как взорвавшийся вулкан. Рванулся было свернуть мальчишке шею, но она исхитрилась запереть дверь, а ключ спрятать за лифом платья. Сёма принялся гоняться за ней и орать что-то про святость супружества... Он был бы рад пристукнуть ее и вышвырнуть на улицу, этакую-разэтакую развратницу, лахудру, шиксу, навсегда его опозорившую. И в тот момент, когда он топал толстыми короткими ножищами и пол ходил ходуном, когда размахивал над головой выдавшим виды плетеным стулом, чтоб запустить его в метавшуюся зареванную Розу и не промазать, его хватил радикулит, да так, что сдвинуться с места без посторонней помощи Сёма не мог. Слезы и пот ручьями. Вот и стоял истуканом, рыча от боли и бессилия. И Розе, на цыпочках подобравшейся сбоку, оставалось только взвалить на себя беспомощную тушу грозного мужа, а Сёме — заткнуться и признать свою недееспособность. Роза раздела его и уложила в постель.

— Водички?

— Грушовки, чтоб тебя разорвало...

Сёма болел долго. Осунулся, но не жаловался, хотя боль совсем его вымотала. Он глушил ее водкой. Правая нога усохла и стала тонкой, как обструганная палка. Понадобились костыли, чтобы передвигаться, хотя бы по дому. Роза терпеливо ухаживала за мужем и горячо молила Всевышнего о прощении. Через полгода Сёма наконец пошел на поправку. И признался жене, что жить без нее не может ни дня, ни часа и весь воздух его жизни — Роза, благоуханный сад счастья. И она на радостях, что Господь ее услышал, а муж выздоровел и простил, бросилась целовать усохшую ногу, а потом и самого Сёму.

Вскоре — один за другим — у них родились четверо детей.

Соседский Марк уехал в Петербург один. В университет не поступил, но зато выгодно женился. Сёма никогда не подпускал даже намека об этом случае, и Роза забыла Марка, но сегодня — с чего вдруг? — когда заговорила про святость супружества...

— Вот ментолки, мамэлэ!

— Все хорошо, спасибо. Все у нас, как надо. Вот смотри, — и она развернула новенькую широкую простыню.

— Видишь дырку?

— Как же можно такое не видеть?

Когда твой муж возжелает войти к тебе, быстренько укройся простыней. Муж все поймет. Не бойся! Умные люди давно просветили его и про простыню, и про дырку. И не вздумай от страха потерять мозг, ты и так этой ночью кое-что потеряешь. И еще. Без одежды вы не должны любить друг друга. Так делают только гои. У евреев все по-другому.

<sup>1</sup> Мишуген (*идиш*) — сумасшедший, безумный.

Блестя серыми агатами влажных глаз, мама Роза вручила Рите заветную простыню, обняла, поцеловала и, отстранившись, взглянула на дочь с какой-то новой внутренней дистанции, которая больше разъединяла, чем соединяла их, но не нарушала родства.

У Риты ум за разум зашел от внезапных откровений: как она будет — и будет ли — объяснять все Арону?

— И последнее, — мама Роза пыхла и горячилась не меньше, чем закипающий на шишках самовар, на верхней губе взошли капельки пота, и нежнейший пушок, намекавший на усики, потемнел и полег, — лучше вам не спать в одной постели. Не в этом счастье, поверь! Мы с Сёмой и наши родители, и родители наших родителей, и Соломон со своей Лизочкой — вообрази себе — тоже так жили. Растолковать тебе это, цигалэ<sup>1</sup>, мой материнский долг! И ты будешь говорить то же самое своей дочери накануне ее свадьбы. Так устроена жизнь. Но при всем моем богатом воображении, не возьму себе в толк — и Сёма тоже — что за жизнь вас ожидает в таком безбожии?

Риту опять сморило. Она погружалась во тьму, падала камнем в какой-то липкий бездонный морок, пропадала, но что-то вызывало ее к жизни, не отпускало, и она возвращалась, жадно заглатывая воздух. И сразу страшные вопросы: где дети? где Арон?

Исключенный из партии Арон обивал пороги разных организаций и учреждений, звонил друзьям и в конце концов был принят в контору плотнично-столярных работ Аэроклуба, строительством которого он совсем недавно руководил.

— Мой Арон — плотник? Или столяр? Да он даже хромой табуретки не сделает.

Вернувшись из больницы, Рита увидела настезь распахнутый шкаф с голыми плечиками для одежды. Там за длинными платьями, юбками и пальто любили прятаться дети. Рита не обнаружила ни английских шерстяных костюмов, ни твидового пальто Арона, ни своих лаковых туфель. Но когда не нашла белого песцового жакета, купленного во Флоренции, и даже — мелочь, конечно — новой пары фильдеперсовых чулок, стало ясно, что жить им не на что.

А как счастливо жилось в Милане, куда Арона командировали на три года в должности уполномоченного советского торгпредства. Порадел-таки, поспособствовал Алексей Иванов!

От слова *уполномоченный* Ритины губы разъезжались в блаженную улыбку, в глазах включались электролампочки.

В первый же день, бросив неразобранные кофры, они вышли на Соборную площадь подышать воздухом заграницы, присмотреться к европейской жизни, пофланировать, побродить по галерее Виктора Эммануила — по местному пассажи.

Было солнечно и по московским представлениям даже жарковато. Ветерок время от времени добавлял порцию прохлады, и этого было достаточно, чтобы теплолюбивые итальянцы вырядились в пиджаки, шерстяные джемперы и шарфы. Рита с Ароном и их дети в белых панамках, одетые легко, почти по-курортному, привлекали внимание. Так могли выглядеть только иностранцы, и скорей всего — русские.

Громадный, паривший в яркой лазури Домский собор поразил мгновенно и навсегда. Он ничем не напоминал русские соборы или церкви и даже Кремль, тоже построенные итальянцами. На Соборной площади — шагу не ступишь — столько голубей! Идешь по живому морю, покрытому переливчатой сизой рябью. Птичье море еще и гулило хором. Люди привычно кормили посланников святого духа хлебными крошками и крупой, а дети в восторге совершали набеги, разгоняли голубей, играя в победителей...

---

<sup>1</sup> Цигалэ (*идиш*) — козочка.

Оказалось, что выросший в скромной семье и вроде бы неизбалованный Арон обожал роскошную жизнь: дорогая одежда, дорогие рестораны с хорошей кухней, с вином и живой музыкой. В Милане бегали в Ла Скала, где дирижировал Артуро Тосканини, маленький скандальный человек, державший в трепете всю труппу. В доме было много музыки: Арон импровизировал на рояле, а когда научился играть на саксофоне, Рита аккомпанировала. Они разучивали новые джазовые пьесы, репетировали, пели, дурачились, и дети — вместе с ними.

— Где саксофон? — Рита оглядела комнату. — Уже продал.

Осталась только — на подоконнике, под вышитой салфеткой — пишмашинка «Ундервуд» с большой кареткой, на которой раньше, перепечатывая рукописи, подрабатывала Рита.

— На мои похороны бережет, не иначе.

Что подороже, Арон относил в ломбард, что попроще, толкал на рынке. Это был качественный импорт, присланный Соломоном из Харбина, где он давно и благополучно обжился вместе с Лизочкой и Лёвой. Иногда через «Торгсин» Соломон присылал валюту. Переписка с Харбином была вялой — два-три письма в год. Обычно отвечать на отцовские письма Арон поручал Рите, а сам ограничивался коротенькой припиской: скачаю, целую, любящий вас Арончик.

Кроме подробностей об институтских успехах Лёвы, Соломон сообщал, что у него много поклонников, и хотя он — кантор в Главной синагоге, но не отказывается от сольных выступлений, при первой же возможности концертирует — пел перед Шаляпиным и перед Вертинским, участвовал в благотворительных вечерах и даже выступал на торжественном приеме в советском консульстве по случаю празднования десятой годовщины революции.

«С годами, — писал Соломон в очередном письме с надеждой, что Рита сохранит его и не раз прочтает внукам Володе и Ниночке, встречу с которыми предвидеть невозможно, потому что под солнцем этого мира не найти общего для них места, не выкроить времени, — с годами часто отпускаю себя в мысленное путешествие по местам незабвенного своего детства: тишайшие Климовичи, милое местечко Прянички на берегу Остера, на взгорке дом моего бати Мойши и мамы Гиси, и кроме меня за столом еще двенадцать ртов. Полуголодные, босые, в какой-то рванине вместо одежды. Я всегда пел. Батя звал меня дармоедником и трутнем... Мама заступалась, сухариком баловала. А я, веселый или грустный, пасу козочек или гусей и пою себе, заливаюсь. Знал, что буду певцом. В 14 лет ушел в люди, как ушли до меня двое моих старших братьев. Добрался до Петербурга. Кем только там не работал?! И мечтал о консерватории. Стоял под ее светящимися окнами, ловил ухом арии, романсы, запоминал... Разве мог я не поступить в консерваторию? Конечно, поступил. Но через два года захотелось в Москву. И мы с Лизочкой — она мне во всем потакала — и с Арончиком перебрались в Москву, в Лефортову слободу... Но я и в Москве не мог успокоиться. Настырный, добился стажировки в Милане и получил диплом Московской консерватории со званием «свободный художник». И это не просто красивые слова, но — особое положение, статус. Прощай, черта оседлости! Свободный художник вместе с женой и детьми, мы — лица «почетного гражданства». Так-то, дражайшие мои деточки! Это мой подарок вам. На всю жизнь.

И тогда я, бедный еврейчик из Пряничек, дармоедник и трутень, поверил, что стал преподавателем пения и певцом. И за бесценный дар от Господа, за дивную радость пения и за труды мне не только аплодируют, но еще и деньги платят. Кстати, родненькие мои, скоро пришлю денежный перевод. Целую всех хором. Любящий вас папа и дедушка».

Рита пощупала нос — ледяной.

Чайку бы погорячей... или кофе. Надо же, вспомнила про кофе! А ведь почти не пила его, не понимала вкуса, всегда, по ее впечатлению, одинаково горького, без оттенков и послевкусия. Старалась полюбить кофе в Италии. Не получилось. Но аромат дразнил. Душу Рита отводила, потягивая крепкий горячий чай из блюдечка.

Когда они вернулись из Италии в Москву, Бюро райкома ВКПБ объявило коммунисту Златкину А.С. строгий выговор за связь с троцкистами и с родственниками, проживающими за границей, и за то, что отец — служитель еврейского культа.

До Москвы почему-то не дошла информация, что кантор Соломон Златкин, так и не отказавшийся от советского паспорта и не перешедший — ни за какие коврижки — на положение эмигранта, уволен из Главной синагоги Харбина по категорическому требованию ХЕДО — Харбинского еврейского духовного общества.

*Передо мной ксерокопия ДЕЛА из Государственного архива Хабаровского края, полученного стараниями моей неравнодушной и деятельной невестки Наташи. Это неожиданное событие и документ, попавший в Хабаровск из архивов Харбина, потянув за собой цепочку других документов, сподвигли меня взяться за повесть.*

*На титуле ДЕЛА корявым почерком троечника выведено: Златкин Соломон Моисеевич. Буквы фамилии, как пьяные муравьи на тропе, рассыпались поодиночке — от прописной и далее все мельче и мельче. Имя над строкой держалось в состоянии критической невесомости. Отчество особенно разборчиво и назидательно крупно. Меня гипнотизировала эта малограмотная мазня. Руки дрожали.*

*До сих пор не приходилось держать в руках личное ДЕЛО. Фотокарточки, письма, паспорта, истории болезни, почетные грамоты, дипломы, да мало ли еще какие документы, но личное ДЕЛО — никогда. Тем более, ДЕЛО бывшего «родственника за границей», о котором надо было помалкивать, как десятки лет помалкивали мои дед и отец.*

*Видимо, кантор раздражал давно и многих в Харбине. Вот начало (орфография и пунктуация здесь и в других документах соответствуют оригиналу):*

М.Г.

Разрешите обратить Ваше внимание на человека на которого действительно следует обратить внимание. Я хочу указать совподданного Кантора Главной Синагоги Г-на Златкина, который имеет трех сыновей в советском Союзе занимающие довольно высокие посты в Советском правительстве, причем старший его сын женат на сестре Кагановича. Сам он здесь под вывеской прокат пианино занимается ростовщиством, дает деньги на проценты и обирает несчастных жертв неизмеримо высокими процентами.

Также следует отметить еще один факт. Почему-то он последнее время проживал за Сунгари и вдруг таинственно очутился в Бариме. Властям следовало бы обратить свое внимание на этого пресловутого кантора.

Эти сведения точные и сомневаться в их правдивости нечего.

Харбин 15-го августа 1936 г.

*Доносец, однако. Самый натуральный. И анонимный. Демонстрация лояльности и бдительности. Кто писал: мужчина, женщина? Почему-то кажется, что женщина. С характерными литературными штампами, признаками якобы стиля, а на деле — дурновкусия: «неимоверно», «несчастные жертвы», «таинственно очутился». С пристрастием к сплетням: «старший его сын женат на сестре Кагановича»... Вот как аукнулось родство с Рыковым! А сколько нескрываемого антисемитизма! Если уж угораздило родиться евреем, то в «облик аморале» так и напрашиваются: душегуб, кровопийца, скряга, ростовщик похлеще папаши Гобсека. Но главная вина все-таки в том, что «совподданный».*

*Разве не подозрительно, что служил в синагоге и в то же время сдавал в прокат*

пианино? В деньгах нуждался, что ли? Выходит, высокопоставленные сыновья ему не помогли?

*Возможно, он помогал своим сыновьям в Москве?*

*Зачем-то мотался с одного берега Сунгари на другой?*

*Уж не шпион ли «пресловутый кантор», проживавший по адресу: Пекарная, 77 (эти сведения с 4-й страницы)?*

*Окопался в Харбине, в одном из крупнейших центров русской эмиграции, стал своим, и — есть где разгуляться — вперед, дерзай во славу СССР. Как в классическом детективе: «У вас продается славянский шкаф?»*

«Семья Цаповецких живет на квартире у Златкина, подд. СССР, говорят, что они живут у него много лет и платят сравнительно дешево за комнату... Златкин — кантор синагоги»...

*Эти сведения из опроса в начале июня 1942 года.*

*Уже в первом доносе отмечено: «совподданный». В эмигрантской среде — вызывающий факт. Несомненно, кантору не только намекали и предлагали изменить статус, но и требовали. В конце концов уволили, о чем свидетельствует донос некоего г-на Флейшмана М. М. в октябре 1942 года:*

*«Около 2-х лет тому назад уволен за то, что не хотел переходить в эмигрантское состояние. В настоящее время Златкин дает уроки пения».*

*Вот так. Жестко и однозначно.*

*Иначе скандал: советский кантор в Главной синагоге Харбина. Прямо-таки в сердце цудаизма.*

*Последняя страница начиналась с заголовка: «Газета “Заря” от 17 августа 1943 года рекламирует советского подданного Златкина С. М.».*

*Далее приведена заметка «Советы молодым певцам»:*

«Перед нами лежит проспект, выпущенный преподавателем пения, свободным художником Московской консерватории С.М.Златкиным.

Этот проспект — плод почти тридцатилетних наблюдений педагога над учениками и их работой. В нем имеется много полезных советов, как для начинающих певцов, так и артистов, и педагогов.

Вместе с тем этот проспект является и программой обучения певцов самим С.М.Златкиным, программой хорошо проверенной на опыте и давшей прекрасные результаты.

Известно, что С.М.ЗЛАТКИН обучался в Петербургской консерватории по классу пения у профессора С.И.Гибель, затем перевелся в Московскую консерваторию, которую и окончил в 1909 году по классу В.М. Зарудной с отличием и званием свободного художника.

Вначале он преподавал в Самаре, затем был преподавателем в Азербайджанской государственной консерватории и выступал как певец в камерных вечерах.

Сейчас он работает, как педагог, в Харбине имея ряд учеников, некоторые из которых обещают в будущем стать хорошими певцами».

В качестве комментария к заметке дан машинописный абзац от редакции:

ЗЛАТКИН С. М. является советским подданным и иногда устраивает музыкальные постановки в консульстве СССР. Одно время он был кантором синагоги, но из-за подданства его убрало ХЕДО и теперь он занимается преподаванием пения. Причем ему предлагали перейти на эмигрантское положение, но он категорически отказался. В СССР у него имеются сыновья, которые, говорят, занимают видные посты.

17.VIII — 43 г.»

*Кстати, о сыновьях.*

*Если верить доносам, старший, Арон, был женат якобы на Розе Каганович.*

*Интернет трубит на всех сайтах, что Роза, она же Рахиль, легендарная сестра Наркома путей сообщения Лазаря Кагановича, последняя любовница Сталина и даже его тайная жена, сумевшая отравить вождя смертельной дозой варфарина, от которого у него развилось внутренне кровоизлияние.*

*О Розе Каганович или шумели, или глухо молчали, делая вид, что она — только мистификация и не существовала ни-ког-да...*

*Между тем, настоящая и единственная сестра Лазаря Кагановича — Рахиль, она же Роза, будучи матерью шестерых детей, неприметно жила с семьей в провинциальном тишайшем Чернобыле и умерла в 1926-м году.*

*Но у Кагановича была еще и любимая племянница — библейская красавица и умница, тоже Рахиль, по-домашнему — Роза. Когда застрелилась Надежда Аллилуева, Розе было семнадцать. А Сталину нравились юные девушки. Впрочем, кому ж они не нравятся? Он и с Аллилуевой познакомился, когда той едва исполнилось шестнадцать лет.*

*Политический миф о роковой Розе Каганович с сюжетом почти шекспировского накала распространился в начале 1930-х годов с фантастической силой. И не только в пределах СССР. Главным образом, за рубежом, в эмигрантских кругах Европы и Китая, где его толковали и смаковали взахлеб.*

*Возможно, слух об Ароне, женатом якобы на Розе Каганович, привлек пристрастное внимание тайной полиции Харбина?*

Нина и Рита сидели за круглым столом под абажуром, похожим на апельсин. Рита не отрывала глаз от сестры, сильно сдавшей за последние полгода: серые глинистые щеки, трясущаяся рука и вместо блестящих карих глаз — две погасшие бездны. А волосы...

— Ты неплохо выглядишь.

— Назло врагам, — огрызнулась Нина, достала из авоськи пачку «Казбека» и отошла к окну, подальше от Риты, — три затяжки, не больше!

Рита испугалась, что ее вырвет от дыма. Может, так бы и случилось, но отвлекли Нинины зубы, запачканные помадой, как кровавой слюной.

— Перед твоим приходом приснился волшебный сон про Хозяйку Жигулей.

— Волшебный? Чудно. Я сутками не сплю. С того дня, как взяли Алексея Иваныча. Рассказать? Кроме тебя, некому. А выговориться хочется... Тогда позвонил Поскрёбышев, крапивное семя, и сказал, что совещание, машина у подъезда. А я уже в инсульте. Утром увидела в «Правде», что Орджоникидзе умер, и брякнулась без сознания. Алексей Иваныч с Дусей перетащили меня на диван, вызвали врача.

— Отчего умер Орджоникидзе?

— Якобы инфаркт. Но откуда? Ему только пятьдесят. Здоровый, крепкий мужик. Не мог он так умереть, понимаешь? Кто-то очень сильно помог. Орджоникидзе, хоть и друг Сталина, но он — последний, кто не брезговал и не боялся дружить с нами. Рыков-то, считай, с самого начала, изгой в правительстве. Своим никогда не был. Еще при Ильиче позволял себе выпады. Да в какие моменты!? Выступил против Апрельских тезисов Ленина, — Нина, начиная счет, загнула мизинец правой руки. — Проголосовал за коалиционное правительство с эсерами и меньшевиками. Мечтатель, он вообще видел мир без никаких партийцев. Протестовал против красного террора и против подрастерстки. Потом против Сталина, — Нина загнула все пять пальцев и, потрясая кулаком, продолжала: — потом на всю страну объявил, что партия никогда и ни перед кем, даже перед Сталиным, на колени не станет. Думаешь, Сталин забыл? И это всего лишь цветочки. Рыков выступил против свертывания НЭПа, против грабительской индустриализации и против, как он окрестил, «крепостнической» коллективизации.

Сталину в лицо бросил: «Ваша политика экономикой и не пахнет!» И опять публично. Сталин затаился. И — знак: не позвал нас на свой юбилей. Никому не прощал.

— Нин, помнишь, в годовщину смерти Маяковского, в Большом? Читали поэму «Ленин». Сталин — в ложе, один. И слезы по щекам.

— Крокодиловы слезы... Всех бы сожрал. Крупская в гостях у Орджоникидзе сказала, если б Ильич дожил, он и его бы посадил. Злопамятный. Вот Ленин недолго держал обиду на Рыкова. И в разгар войны назначил Чусоснабармом<sup>1</sup> — вообще-то расстрельная должность. Рыков месяцами мотался по стране, но солдаты и матросы были мало-мальски сыты и одеты. Он очень многих раздражал. И знаешь, чем? Не носил ни гимнастерки, ни френча. Всегда костюм с жилеткой, белая накрахмаленная рубашка, галстук. А прическа?

— Да, как у писателя или актера.

— Ты помнишь, как он ел? Ножом и вилкой, беззвучно, пока другие жрали, чавкали и сёрбали. Откуда что взялось? Вроде бы сирота, самоучка, заика, но — манеры, и объясняется на трех языках. Таков Рыков.

Нина налегла на широкий подоконник и, гремя ржавыми шпингалетами, распахнула окно. В комнату ворвалось теплое московское лето, которое, казалось, ждет не дожидаясь, когда его наконец заметят. Свежий воздух с запахом цветущих лип обещал если не излечить, то хотя бы обогреть и ободрить чахлые побеги городских человеческих жизней.

— Не прошу себе, что не проводила и мы не попросились. Не дотумкала, что путь в один конец. В полночь 27 февраля с десятков энкавэдэшников перевернули всю квартиру. И уже 2 марта — читала, наверное? — в Доме Союзов процесс по делу Правотроцкистского блока. 21 человек. Рыков, рассказывали, — в чем душа держится, худой, раздавленный. И отказался от защитника. Ужасно! Вот результат его тактики «выжидательного бездействия». Во всем, представляешь, во всем признал себя виновным. Как надо добить человека?! Во что превратить?.. В тот же день арестовали Наташу. Нашли врага революции, суки! Ей и восемнадцати нет... Теперь спроси: кто крайний? Я — крайняя, печенкой чую. Скоро поволокут на Лубянку. Пока лежала с инсультом, они выжидали. Теперь я на ногах. Хоть с тобой простимся.

— Не убивайся, — стараясь быть услышанной, прошептала через силу Рита, — всё образуется.

Нина примостилась на подоконнике, сдвинув в угол горшки с засохшими фиалками. Она глубоко затянулась и со вкусом выдохнула на улицу.

— Ты про Хозяйку Жигулей, а я тебе про сон, который Алексей Иваныч видел за несколько дней до снятия с Предсовнаркома. Еще в Нарыме мы при керосиновой лампе читали вслух «Божественную комедию». Оба в потрясении. Рыков читал потом по-итальянски со словарем. Любил сравнивать разные переводы. А во Флоренции, перед памятником Данте почти не дышал от благоговения. Кто из них был больше памятником, убей, не знаю... И вот, снится: он продирается на ощупь, протискивается, сдирая кожу, — очень узко — по каким-то катакомбам, по каменному лабиринту, по винтовой лестнице. Все глубже, все круче. И вдруг — хват! — липкая мясистая лапа. И за горло. Дышать трудно, но краем глаза он видит расшлепанную ступню, а на ней — шесть пальцев. И ему прямо в ухо кричат, чтоб он, глухой, расслышал: «Забудь, что я — Шестипалый. Здесь у меня другой партийный псевдоним — Вергилий. Только я знаю, где твое место. И, будь уверен, провожу. Председатель Совнаркома нужен стране совсем не для украшения...»

Нина, железная Нина, которая и в ум не брала, и сердцем не разумела, как это — плакать, вдруг часто-часто заморгала. Такой сестру Рита не видела. Она знала

<sup>1</sup> Чусоснабарм — Чрезвычайный уполномоченный Совета Рабочей и Крестьянской Обороны по снабжению Красной Армии и Флота.

принципиальную большевичку, строгую начальницу, соблюдавшую субординацию и готовую служить пролетарской революции до смертного часа. А тут...

Рита потянулась за ридикулем и вынула исписанную красным карандашом и сложенную «галочкой» страничку из школьной тетради.

— Глянь, Володенька меня поздравил.

Нина сползла с подоконника, отыскала в копне пышных полуседых волос очки и развернула листок: «Единственная моя мамочка! Сегодня 8 марта. Желаю тебе красивую музыку, новую кровать, чтоб ты поскорей выздоровела, и снов про море каждую ночь! Еще — вкусных спагетти! Твой сын и друг Владимир».

— Трогательно. Но какие странные пожелания...

— А в чем странность? Не пожелал успехов в работе? Так я не работаю. Здоровья? Его нет и не будет. Даже ребенку ясно. Помнишь, наша мама Роза по любому поводу приговаривала: при всем моем богатом воображении...

— И что? У нее-таки было воображение. А за Володей надо понаблюдать.

— Дети у Лены. Нелегко ей. И непривычно: и работа, и дети. Вроде бы соседка за ними присматривает.

Жар в отекающей руке распространился до кисти, захватывая пальцы. Тошнота наступала, отвоевывая час за часом остатки того, что было жизнью. Будущего почти не оставалось, настоящим жить не по силам. И спешить не надо... Куда спешить? Рита улыбнулась: наконец они с Ниной вместе. Счастье!

— Ниночка, сообрази чайку. Или я умру от жажды.

Чай с баранками и зелеными слипшимися «подушечками» сестры пили с каким-то особым наслаждением.

— Смешно он пожелал *вкусные спагетти*. Это же пасташутта!

Когда мы с Рыковым в 24-м уехали на лечение в Италию, нашим переводчиком и гидом был, помнишь, Борис Иофан. Свой в доску. Член Итальянской компартии. Друг Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти. Настоящий *compagna*<sup>1</sup>. Общались взахлеб. О политике, еще больше о судьбе СССР. Гуляли, смотрели виллы, музеи, Ватикан. Много бражничали. Рыков на балалайке, как тогда в Саратове, завел неаполитанские песни, потом — русские, потом плясал вприсядку. После инфаркта-то! В общем, почти породнились с Иофаном и его женой Ольгой. Она — утопистка, поклонница Кампанеллы, ей бы жить в «Городе Солнца», хотя по отцу — итальянская герцогиня, по матери — русская княжна. Оба большие альтруисты. Когда прочитали в газетах про голод в Поволжье, продали свою богатейшую римскую библиотеку и деньги послали в Россию. Борис без Ольги шагу не ступит. И Ольга любила Бориса так, как любят в романах. Так вот Борис — мы его прозвали *Барокко* — приохотил нас к спагетти с тертым пармезаном. По-итальянски, *пасташутта*. И сейчас слюнки текут. Знаешь, Идка, всё это было — счастье.

Мы четыре месяца в Риме — варвары, азиаты «с раскосыми и жадными очами». Мы — вчетвером, влюбленные друг в друга, казалось, навсегда. И — пасташутта. Это было счастье!

— Прости, я прилягу. — Рита, накрывшись пледом, повернулась на левый бок, чтобы видеть сестру. — А что потом?

— Потом мы в Москве часто варили макароны. Почему вместо *спагетти* у нас говорят *макароны*? Пошехонский сыр на крупной терке. Быстро, вкусно, но — совсем не пасташутта. И близко не было. Твой Володенька, когда писал о *вкусных спагетти*, пожелал тебе счастья, Идка.

Рита дремала. От мелких ее вдохов-выдохов плед не поднимался и не опадал. Щеки пылали, черная челка прилипла к потному лбу. Она лежала умиротворенная,

<sup>1</sup> *Compagna (итал.)* — товарищ.

помолодевшая и очень красивая. Нина наклонилась над ней как врач, отмечая понятные ей изменения.

— Что разглядываешь, Ниночка? Да еще очки нацепила. Я ведь не сплю. Я слушаю. Ты очень интересно рассказывала, давай дальше!

— Дальше Рыков — и это целиком его заслуга — уговорил Иофана и Ольгу вернуться в Советскую Россию. Обещал грандиозные заказы государственного масштаба. Не какие-то буржуазные вилочки на побережье... Современный Город Солнца, социалистическая Москва достойна чего-то экстраординарного. И нужен не банальный американский небоскреб, а — дом нового типа для граждан государства нового типа, для членов правительства и старых большевиков, для героев труда, военачальников, летчиков и, конечно, для рядовых ударников производства. Первый дом Советов! Рыков мечтал об этом.

— Вовремя Иофан построил. Где б вы куковали, когда вас из Кремля выперли?

— Да, почти полгода... Чуть забудусь, ноги сами идут в Кремль. Рыков не взял оттуда ни одной книги, бросил всю свою огромную библиотеку с экслибрисами. И рояль бросил. Наташа — в него. Когда пришли энкаведешники, выкинула в мусоропровод все столовые приборы с вензелями «А.И.Р». И грохнула об пол, вдребезги, чтоб не надругались, гипсовый бюст Рыкова с письменного стола. С характером девочка. А Кремль, конечно... Почти десять лет жизни. И какой жизни?!

— Зато здесь все удобства. Где еще в Москве газовые плиты, горячая вода, мусоропровод? А лифты? Про прочие вавилоны умолчу.

— О чем ты, Идка? Все самое необходимое: магазины, почта, сберкасса, столовая, прачечная, медпункт. Да, сегодня наш дом — единственный. Больше 500 квартир. Рыков мечтал о фасаде, покрытом красной гранитной крошкой, чтоб светился от солнечных лучей на рассвете и на закате. О нашем доме книги напишу! Такие дома с лифтами и удобствами станут массовыми. И до Саратова дойдут. Хватит разрушать, пора строить.

Есть ошеломительные проекты. Один Дворец Советов чего стоит? Думаешь, просто дворец? Стены и крыша? Это же проект мечты, проект счастья. Он будет выше, чем нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг, больше четырехсот метров. А на крыше 100-метровая статуя Ленина. В голове — зал съездов, в указательном пальце — кинозал или библиотека. Котлован на Пречистенке уже вырыт. По ночам и дворец, и статуя будут подсвечиваться сотнями прожекторов. Правда, проект окончательно не утвержден, но я верю. Народ еще оценит Москву Бориса Иофана! Как оценили в нашем доме кинотеатр «Ударник» и клуб имени Рыкова. Все у нас будет, Идэлэ, дай только срок...

— За сроком не заржавеет, — Рите стало совсем муторно и, может, поэтому раздражала восторженность Нины, будто не у нее арестованы муж и дочь, не ее спаают со дня на день — мало не покажется ни Рыкову, ни Наташеньке, ни нашему Лёве. Зачем он только приехал?

— Лёва все еще под следствием?

— Скоро год. Арон регулярно носит передачи. Теперь в Бутырку. Лёва там с декабря. Жив, значит.

— Конечно, жив. Вспомни, какие у него большие уши. Признак долголетия. Но как это было?

— Как у всех: ночь, звонок, обыск. У Лёвы на сберкнижке 4000 рублей. Откуда такие большие деньги? Отец прислал. По почте? Нет. Через знакомых? Да. Кто, когда и сколько привез? Имена, фамилии. В портфеле нашли еще 1000 рублей. Кто передал? Не помню. С какой целью? Не помню. Объясните запись вашей рукой в блокноте: *500 поцелуев, 1000 поцелуев...* Это шифр? А поцелуи — деньги? За какие услуги? Что за бухгалтерия? И всё. И достаточно.

— А правда, что за *поцелуи*?

— У Лёвы появилась девушка. Нэлли. Пианистка, консерваторка. Из того же

харбинского круга, но приехала на год раньше. Жила на Тверском, у своей тетки. Давала уроки музыки, готовила к поступлению в консерваторию. Лёва успел нас познакомить. Дети сразу на ней повисли. Хорошенькая пышечка, веселая, живая. У них все серьезно. У Лёвы всегда все очень серьезно. Они откладывали деньги на свадьбу. Накануне Лёва спросил: можно отдать тебе деньги на хранение? Я кивнула. Но он заигрался с детьми, потом легли спать, потом — звонок, пришли! Но Лёва про свадьбу и про Нэлли — ни слова.

— Надо было в партию вступать.

— Кого спасла ваша партия? Рыкова? Наташу? Арона? Может, тебя спасет? Ссылки и тюрьмы вам зачтутся? — вдруг набросилась Рита.

Нина вскинула на сестру глаза — две пугающие черные бездны — но та не осеклась.

— Ты такая умница, Нина, а мозги-таки всмятку.

— Хочешь всмятку, хочешь вкрутую, но я — без иллюзий. Рыков за несколько дней до ареста перестал есть. И курить бросил. Только и ждал. Ходил по квартире, как по камере, руки за спину, и бубнил: он создал свое государство в государстве, свою партию в партии, где все врут, расстилаются, сапоги лижут от страха... иначе — в ссылку, в тюрьму, к стенке — как старых большевиков... и меня хотят в каталажку, укатать хотят. Молодец Томский, вовремя застрелился, а я — слабак, конченный человек. Да, ошибался. Не раз. Как и все мы. Но признаться в том, чего не было, оболгать, сделать из себя подлеца, мерзавца... не позволю. Помню каждое его слово. Странно, Идка, что меня до сих пор не загребли. Спасибо инсульту. Зачем им парализованная старуха?

— Нина, Соломон не в курсе, что Арон исключен из партии, а Лёва арестован. Письмо отправлять не решаюсь. Увидят, что Харбин, вскроют.

— И не вздумай! Это ж донос на себя и на нас.

— Жалко стариков.

— Лучше себя пожалей, Арона, детей ваших, Лёву, Рыкова, мою Наташку и даже меня, наконец, пожалей! Смотреть на тебя — слезы...

— Слезы? Ты ж у нас из железных большевиков.

— Да, из железных. И если ты до сих пор не поняла, объясняю: есть большевики — железные, а есть — железобетонные. И кабы эти железобетонные не придавили нас, железных...

Соседка Клава Тырпеткина, тараша круглые желтые глаза, просунула в дверь куриную голову на длинной вертлявой шее.

Рита знала, у соседей сезонное обострение хронической бдительности. Особенно маялась Клава Тырпеткина из девятиметровки. Она даже на ночь не прикрывала двери своей комнатенки, которая как раз напротив тумбочки с телефоном. Бедную душу Тырпеткиной терзала неумная страсть разоблачений.

— Арон все еще в отпуске?! Жирует! Встречи назначает, намеки строит, шифруется. Слышали? Нет? А я собственными ушами. И что подозрительно, в начале разговора обязательно ввернет словцо не по-русски. Одно-единственное. Пароль? Что еще!? Арбат — правительственный маршрут. У Арона бинокль. Голову даю на отрез, он систематически наблюдает через этот бинокль из окна за правительственными машинами и продает сведения иностранцам. Иначе откуда денежки? Папочкины тряпочки да бареточки уже тю-тю! На днях орал в трубку — ничего не боится, контра: «Люди ужасно мучаются! Житья нет». Во как! Житья ему, видишь ли, не хватает... а сам то в Кремль, то на дачу, то в заграницу. Буржуй зажавшийся!

Клава Тырпеткина, перетаптываясь у двери, поинтересовалась вполне предметно:

— Про что тары-бары, сеструньки? Секреты? Государственные дела?

— Да вот чаёвничаем.

— Известно, забот полон рот, а перекусить нечем. — Клава зыркнула на Нину, подробно обшарила глазами стол с ворохом таблеток, с градусником и грелкой, с батоном белого, баранками, «подушечками» и наткнулась на большие чашки — кобальт с золотом — со свежим красноватым чаем. — Телефон на разрыв, не слышно, что ль? Я к вам, товарищи-барыньки, ни в домработницы, ни в секретарки не нанималась. Вам, уважаемая Нина Семеновна — могли б культурно предложить бараночку — обзвонились.

— Что ж вы молчали, Клава?

— Из своей деликатности. Слышу, разговор серьезный, перебивать неловко. Язык мой — враг мой. Прежде ума рыщет, беды ищет.

Нина побежала по длинному тёмному коридору, заставленному сломанными стульями, пыльными комодами, колясками, лыжами, на стенах — цинковые корыта, тазы, одежда, и выбросить жалко, и пользоваться невозможно.

— Да, Дусечка! У Иды. По какому вопросу? Давно? Чаем их напои. Выхожу. Скажи, через полчаса буду. И не рыдай, возьми себя в руки!

Клава, подбоченясь одной рукой, другой держа обслонявленную баранку, причмокивала за спиной.

— Звончек-то не пустяшный, Нина Семёновна? Засиделись у сеструньки. Она, ей-богу, на ладан дышит.

Нина на тяжелых ногах брела обратно в темноте коридора. Или это в глазах так потемнело?

— Идэлэ, родная, Дуся сказала, меня ждут.

— Кто ждёт?

— Ждут — и точка. Давай прощаться.

Рита, опираясь здоровой рукой, осторожно сползла с постели. Слезы чуть было не хлынули, как во сне про Хозяйку Жигулей, но она тут же собрала себя в узел.

— Ты — самая родная. Ты — мой идеал, поэтому и дочка — Нина, Ниночка... Ты со мной навсегда.

— Береги себя. Поддержи Арона. Сохраните детей. Хорошо бы вам сбежать, затеряться, пропасть... В общем, *вкусных спагетти!* Пасташутта!

Обнявшись, сестры замерли ровно на вздох. Потом Нина поправила съехавшую на бок полуседую копну и поставила кресло на место.

— Осим хаим<sup>1</sup>, как говорила наша мамэлэ Роза.

— Осим хаим, Нина!

Как только Нина Семёновна Рыкова переступила порог своей квартиры № 18 в Первом доме Советов на Берсеневке, ей предъявили ордер на арест.

Это было 7 июля 1937 года.

Через месяц умерла Рита.

Детям — Володе и Ниночке, по-прежнему жившим у Лены в Лубянском проезде, — ничего не сказали.

И Арон никому не говорил, что младшего брата Лёвы, инженера-экспериментатора, мечтавшего быть в авангарде советской науки и строить коммунизм, больше нет. Уже полгода. Арон не мог сказать об этом даже Рыкову, который, лишившись партбилета, постов, влияния и друзей, был отправлен тогда в почетную отставку на должность Наркома почты и телеграфа — Наркомпочтель и называл себя не иначе как «почтмейстер».

Когда под Новый год в Бутырке отказались принять очередную передачу для подследственного Л.С. Златкина, Арон понял: Лёвы нет.

Еще до приезда брата он предчувствовал страшную угрозу. Но Лёва забросал

---

<sup>1</sup> Осим хаим (*иврит*) — наслаждайтесь жизнью.

письмами: «Умоляю, дорогой братишка Арончик, помоги, посодействуй возвращению в СССР, в Москву. Это моя мечта! Я — умный и работающий. У меня диплом с отличием Харбинского политеха. Почти год состоял в комсомоле и в Союзе студентов — граждан СССР. Моя цель: строить новую жизнь и быть в авангарде науки. Работу с моим дипломом, уверен, найду и обузой тебе не стану...»

Когда романтик и энтузиаст Лёва приехал в Москву, погода стояла удивительная: то ли осень, то ли весна. Листьев нет, трава зеленая, птицы выступали смешанным хором под небом такой синевы, что счастья, казалось, будет через край.

На работу устроился быстро — конструктор в научно-исследовательском электротехническом институте. Он был из породы окрылённых: брови взлет, вихрастый, походка вприпрыжку, еще шаг — и взлетит.

К его приезду комнату разгородили тяжелой бархатной шторой. Ниночка и Володя полюбили Лёву сразу: молодой, заводной, смешливый. И в те редкие вечера, когда он успевал к семейному ужину, запрягали дядю поиграть в лошадку или просили поговорить по-китайски и тогда передразнивали его, растягивали уголки глаз, ёрничали и ухахатывались до икоты.

Арон, не зажигая света, лежал в пиджаке на диване и переводил взгляд с одного на другое, ни на чем долго не задерживаясь: стопка чемоданов, куча нестиранного постельного белья, связки книг на полу, лекарства, ноты, разбросанная женская одежда. Такой обжитой мир лишен главного — жилого духа. Он и себя принимал как нечто неодушевленное: перегоревшая настольная лампа или колченогий стол. Просторная комната с открыточным видом на Арбатскую площадь когда-то казалась пределом мечтаний: центр Москвы, рукой подать до Кремля... Молодость, счастье! В Саратове, в Москве, в Милане — сколько было счастья!

— Классово-чуждый элемент, — четко артикулируя, он погрозил кому-то кулаком. Встал, накинул на спинку стула пиджак, расправил воротник, лацканы, борта и сел напротив. Один на один с собой будто на очной ставке.

«Пора, контра, колись! Ты давно на мушке. Считаю, с Милана».

...Полжизни в партии. Жил, дышал, рос, как в утробе матери. Человеком стал только в партии, только при советской власти. Партия — мои университеты, а партбилет — диплом. И я при этом классово-чуждый элемент? Я — враг народа, японка мама? Да, совершал ошибки, но — не преступления. Ответственности с себя не снимаю. Признался, повинулся. Если понадобится, повторю прилюдно, хоть где — на бюро, на открытом партсобрании, в газете, на Красной площади... Готов держать ответ перед товарищами. Всегда готов! — и он по-пионерски отсалютовал. — Главные ошибки: политическая близорукость и доверчивость. Милан, говорите?

Зимой 28-го в Милан приехала семья Кузьмичёвых: Валерий Павлович — на лечение, его жена Тамара Ивановна — делопроизводитель в Торгпредстве. Кузьмичёвы оказались компанейскими ребятами: вечеринки, пикники. Мы сдружились. О чем говорили? Конечно, о политике, о будущем страны, о коммунизме. Валерий Павлович заводился с полоборота, особенно после граппы: то недоволен советской властью, то сомневается в линии партии, то сотрудники Торгпредства — все чекисты и параноики, куда не плюнь, все — стукачи, японка мама. Дальше больше. Стал превозносить Троцкого как гения и мирового революционного вождя номер один: вот если б Троцкий стоял у руля, был бы другой социализм и другой коммунизм. Я слушал вполуха и в ум не брал — пустобрёх, балабол, трепло. А примерно так через пару месяцев он — раз! — и промеж глаз: самое время тебе, дорогой товарищ Златкин, организовать в Торгпредстве кружок по идеологическому просвещению в противовес нашей прогнившей и бюрократившейся партячейке. Ты коллективист, умеешь убеждать — прирожденный пропагандист. К тому же, не забывай, ты — еврей, и Троцкий — еврей...

Но я его сразу отбрил: провокация. Я только с Лениным. И только за Ленина. И больше Кузьмичев даже не заикался, не произносил при мне имя Троцкого. Слово коммуниста!

А когда в 29-м я был в короткой командировке в Москве, меня вызвали. И не куда-нибудь, в ЦК. И вытащили из-под сукна донос по поводу «либерального отношения к злостному троцкисту Кузьмичёву, который предлагал активно распространять идеи Троцкого среди сотрудников Торгпредства, о чем товарищ Златкин *не довел* до сведения парторганизации, где состоял на учете».

Короче, статья за *недоносительство*. Но меня отпустили. Пожурили, но отпустили. И я, чистенький, как от мамы, поспешил в Милан.

Неужели имя Рыкова было охранной грамотой?

Мы с семьей окончательно вернулись в Москву в мае 30-го года — в Александровском саду буйствовала сирень, а в стране в самом разгаре компания против «невозвращенцев». И я, как кур в ошип, попал под чистку партячек в загранучреждениях «от социально-чуждых лиц, примазавшихся, разложившихся и поддерживающих связь с антисоветскими элементами».

Шум, скандалы, разоблачения. Лавина «невозвращенцев». Сколько трагедий! Зачеркнутая жизнь или молодость, разбитые семьи, оборвавшиеся карьеры, преданные дружбы. Люди даже в короткую командировку боялись ехать в Москву. Под любым предлогом или молча. Некоторые внезапно и бесследно пропадали.

Вот, например, такой случай: у меня был знакомый кореец Шигай Ёнгван, переводчик, четыре языка. Твердый ленинец. Тоже вернулся в Москву из Италии, но двумя годами раньше. Им активно заинтересовались на Лубянке, пустили в разработку. А Шигай вдруг возьми да умри. Скоропостижно. Лично я на похоронах не был, но знаю людей, которые провожали его на Ваганьково.

В мае 29-го мы выехали с экскурсией от Торгпредства на Сицилию: море, Этна с дымком, маленькие городки, рыбацкие деревни. Мы с Ритой отпросились у организатора на обед. Выбрали ресторанчик, сделали заказ, ждем, а за спиной кто-то ужасно чавкает, я обернулся и — ба, глазам своим не верю! — за соседним столиком сидит себе... Шигай. У меня аж мурашки по телу. Я толкнул Риту: глянь. Она чуть не вскрикнула, успела рот рукой зажать. С ума сойти, Шигай! Да где? На Сицилии, в Таормине. Жив-здоров, вальяжный такой. Сидит с женой, с бывшей, значит, неутешной вдовой, наворачивает лазанью, вылизывает тарелку, запивает кьянти.

— Scusa<sup>1</sup>, товарищ Шигай, разве ты не на Ваганькове?

Он завизжал по-пороссячи, а жена — еще громче и по-английски: *на помощь, грабят!* На Сицилии с английским никак, и полицейских днем с огнем не найти, но людям любопытно. Я вытащил его из-за стола и зажал в углу:

— Это ж ты, Шигай! И я тебя узнал, и Рита. Мы чертовски рады, что ты жив, товарищ!

Он дрожмя дрожит, ноздри раздувает, глаза из орбит, как сырые яйца, вот-вот вытекут, из-под брючины струйка пахучая, и он уж не шумит и лишь губами:

— Моя жизнь в твоих руках, Арон. Не погуби. По старой дружбе. Ты ж порядочный человек! Умоляю, не выдавай. Они всех поставят к стенке: и меня, и тебя. Забудь обо мне. Я — умер.

— Да не дрейфь. Все понимаю. Будь уверен.

Шигай рассказал, что НКВД подозревал его в промышленном шпионаже в пользу Японии. Пахло арестом. В это время умер его дальний родственник и однофамилец. Тут-то жену Шигая и осенило: срочно подменить документы, будто умер Шигай Ёнгван, а по документам покойника (все корейцы для русских на одно лицо) немедленно уехать и затеряться в Средней Азии, оттуда в Китай. Через

<sup>1</sup> Scusa (*итал.*) — простите.

полгода — Тунис, Бизерга, потом морем — на Сицилию. Здесь он в Палермо преподает английский, а в Таормину приехали отдохнуть.

Наши люди не хотели возвращаться в СССР. И какие люди?! Золотой запас партии: матерые подпольщики, старые большевики, пламенные коммунисты, дипломаты, ученые, военные. Какие имена! Чего только стоит политработник Красной Армии, сын наркома Семашко? Остался в Америке.

А я, дисциплинированный примерный идиот, вернулся. Что бы сказал мой папа? А сказал бы: *кому ты сделал лучше, шлимазл<sup>1</sup>?*

И это *лучше* упало маслом вниз: второй строгач «за сокрытие принадлежности к троцкистской организации» и за связь с родственниками, проживающими за границей.

Всё сошлось в одной точке. Намертво связалось в проклятом 34-м: тогда же Ритина первая операция, тогда же «почтмейстер» запил горькую, тогда же приехал Лёва с письмом, где отец умолял ускорить оформление визы на возвращение в СССР его, *гражданина Златкина Соломона Моисеевича, 1879 г. р., учител пения, свободного художника, и его супруге, гражданке Златкиной Елизавете Самойловне, 1878 г. р., домохозяйке, так как они оба в преклонных летах и нуждаются в постоянной заботе и опеке, двое их сыновей работают в Москве и проживают по адресу: Арбатская площадь, д.1/3, кв.25, где имеется достаточная для совместного проживания жилплощадь в коммунальной квартире.*

Отцу мы не ответили. Переписка оборвалась.

И на майском Бюро райкома я удостоился уже строгача с предупреждением «за отрыв от партийно-хозяйственной жизни и за поручение беспартийному сделать доклад об убийстве Кирова».

Сразу сняли с руководящей должности. А я — не хухры-мухры — был начальником строительства аэроклуба на Ходынке.

В 35-м исключен из партии. *Finita la commedia<sup>2</sup>.*

«Чуждый элемент, вредитель, сволочь, гад, вон из партии!» — Арон сорвал со стула пиджак, скрутил и запустил им в дальний угол комнаты, словно в кого-то целился.

Захотелось прилечь, но только не на кровать. Там умерла Рита, любимая жена, единственная его женщина. Еще не выветрились запахи лекарств и ее изболевшегося тела, но подушка пахла «Красной Москвой».

Спать на диване пытка: полусогнутые ноги, принужденные упираться в боковой валик, быстро уставали, шея — на другом валике — ныла и немела. Тогда он садился на диван, выкладывал на стул босые ступни с длинными волосатыми пальцами и засыпал. Но ненадолго, потому что в голове кипело густое варево из отдельных слов, мыслей, оправданий, вопросов.

— Неужели родство и родственные отношения настолько серьезный повод для обвинения в предательстве или других преступлениях, которые, возможно, совершили лица, связанные родственными узами, допустим, со мной? Даже если я ничего *не подозревал*? Даже если ни в чем *не участвовал*? Сколько раз я это повторял?! У них уши воском залиты. Не слышат, хоть тресни. И кто на подозрении? Мой отец, учитель пения, свободный художник. Правда, мы — евреи. Это, конечно, отягчающее обстоятельство на все времена. И еще. Отец ведь не только «родственник, проживающий за границей», но и — «служитель культа», он — кантор. Статья! Не меньше. И с детишками у кантора неблагополучно: младший то на Лубянке, то в Бутырке, а где теперь — одному Богу известно, средний — где-то в Баку и не высовывается, а уж старший — хорош гусь, зятек «врага народа» Рыкова и «классово-чуждый элемент». Ну и семейка!

<sup>1</sup> Шлимазл (*идиш*) — неудачник, придурок.

<sup>2</sup> *Finita la commedia (итал.)* — комедия окончена.

Скоро придут.

Жду каждую ночь.

Почему-то вспомнились слова папы Сёмы перед свадьбой, он строго выговаривал Рите: «Свадьба, моя цыпа, никакой не шалман, хотя вы оба, понятно, в самом соку растительных сил. Но за отступление от традиций, от веры, — как барабанной палочкой, он тыкал указательным пальцем куда-то вверх, стараясь, наверное, достучаться до Неба, — много страданий и горя претерпите и вы с Ароном, и Нина со своим Рыковым, и ваши будущие несчастные деточки».

Напророчил-таки добрый папа Сёма.

А с обручальным кольцом? Оно упорно не налезало на дрожащий Ритин палец. Хоть на мизинец надевай. Рита даже ойкнула от боли. И со стаканом тоже... После того как отец прочитал семь благословений, надо пригубить освященное вино. Потом жених с первого раза должен ногой разбить или раздавить стакан, символ скорби по разрушенным древним храмам Ерушалаима. Стакан предусмотрительно обернули белым полотном, чтоб никого не поранить осколками. Арон, конечно, промахнулся, но гости — в белых праздничных ермолках — уже кричали: «Мазаль тов!»<sup>1</sup>

Стакан разбился лишь с третьего раза, и голодные гости, раззадорившись, еще веселей, еще громче подхватили: «Мазаль тов! Мазаль тов!»

И сколько б раз Арон ни вспоминал про кольцо и стакан, его сковывал все тот же панцирь ледящей тревоги. Дурацкие приметы. От суеверия, которое от незнания, от страха... Веры-то не было. Не только папа Сёма, но и отец об этом говорил.

— Папа, милый папа, как же мы были счастливы в Самаре: ты, мама, Борька и я. Потом родился Лёва. Он почти не плакал, и мы полюбили его. Лёва только спал и ел, ел и спал. И улыбался. Мы с Борей смотрели на него, раздетого, в качке: розовый, в складочках. *Зисэр*, сладкий, звала его мама. А мне слышалось: *зефир*. Меня и Борю она так не называла.

Ты водил меня в концерты и в оперу. Боря капризничал, канючил, и ты выбирал меня. Однажды утром в городском театре слушали «Жизнь за царя», а вечером в частной антрепризе — «Пиковую даму». Ты — Германн! Безумец, маньяк. Я очень боялся за тебя и за нас с мамой. Вдруг ты таким безумцем всегда будешь? Тебе бисировали, дарили букеты. Ты пять раз выходил на поклон, а потом мановением руки, как волшебник, остановил овации: «Ваши аплодисменты не мне, — сказал ты, — они моим профессорам из Петербурга и Московской консерватории и итальянскому маэстро Броджи, у которого я имел честь стажироваться в Ла Скала».

Домой заявились за полночь. Загуляли вместе с труппой в ресторации «Золотой якорь». Мама тогда ужасно рассердилась и кричала, наверное, впервые в жизни, а ты так ласково: «Это моя работа, Лизочка. Не забывай про звание *свободный художник*. *Noblesse oblige* — положение обязывает. И впредь не изволь жаловаться и причитать, лучше порадуйся». Ты обхватил ее плечи, привстал на цыпочки и пропел так нежно: «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал».

Но маму, такую многотерпеливую и сговорчивую, почему-то не отпускало: «Если я вдруг перестану жаловаться и причитать, кем я буду? Ни одна еврейская жена так себя не ведет», — и она взглянула такими страдальческими глазами, что меня пробрало до печенок.

Сирота с младенчества, бедная родственница, лишний рот, Лизочка жила поочередно в Херсоне, Николаеве, Одессе в семьях своих многочисленных дядьев и теток, небогатых мещан, у которых и своих детей — мал-мала-меньше, а тут еще... До образования дело не дошло, но зато в умении вести дом и блюсти порядок не в ущерб уюту Лизочке не было равных. Она редко куда-то выходила: *киндер*, *кюхе* и вместо *кирхе* — синагога.

<sup>1</sup> Мазаль тов! (*идиши*) — Счастья!

Помнишь, папа, хоральную синагогу в Самаре? Громадная, в восточном стиле. Сейчас там хлебозавод. Уцелела только синагога Маркисона на Николаевской. Мы жили неподалеку от пивоваренного завода, на Льва Толстого, там ходила конка.

Ты давал уроки пения, писал рецензии на музыкальные постановки, правил их, зачитывал вслух, я с умным видом слушал. Потом вместе шли в редакцию «Волжского слова», потом ждали выхода газеты с твоей публикацией. Каким же огромным кажется мое детство! Каким вместительным! Чем дольше живу, тем оно огромней и ближе. Столько музыки и счастья! Ни за что и ниоткуда. Или всё от вас, родные мои, папа и мама?

У моих детей ничего похожего. Володе — 10, Ниночке — 7 лет.

Как только меня арестуют, Лена, надеюсь, оформит опекунство. Документы у нее. Я все предусмотрел. И тогда детей не отдадут в детский дом, где могут изменить фамилию, чтобы их никто никогда не нашел. Ведь они — сироты. Даже при живом отце. Они — дети врага народа. Что им запомнится из семейной жизни? Умирающая мать, сломленный отец? Или наши шутки, игры, музыкальные вечера? Рита любила клезмер: тум-балалайке, шалом алейхем. Голосистая была. Она на пианино, я на саксе. Дети бузили под музыку на полу, на диване, орали, подпевали, прятались под стол или в шкаф. Неужели забудутся наши лица, голоса, руки? Мы с Ритой по очереди укладывали их, гладили по головке, чесали спинку и пяточки. В Ритиной кипарисовой шкапулке — кстати, где она? — вместе с коралловыми бусами хранятся два первых выпавших молочных зуба. Только Рита знала, какой Володин, какой Ниночкин. И еще завернутые в пергамент прядки темных младенческих волос. Только Рита знала, какая Володина прядка, какая Ниночкина. У детей не останется даже альбома с фотокарточками, где мы такие счастливые...

И Арон опять вспомнил об отце.

С такой гложущей тоской он почему-то не думал ни о матери, ни о Рите. Хотелось думать только об отце, сидеть в обнимку, по-детски жаловаться, сетовать на несправедливость жизни, просить совета. Отец — Арон его называл Кантор — казалось, приласкает, приободрит, отгонит страхи, ответит от края ненасытной прорвы, куда его вот-вот столкнут... У Арона и сердце билось ровнее, когда он думал, что рядом — руку протяни — Кантор, узкоплечий, тщедушный на вид, но с горящим взглядом и с такой силой духа, которая и следа не оставит от навязчивых страхов. Арон не отпускал от себя Кантора, но и Кантор не отпускал Арона.

*Как и сейчас не отпускает Кантор, мой двоюродный дед, меня, не знавшую и никогда его не видевшую.*

*Не отпускает уже двенадцать лет — с того незабываемого дня молодой осени, когда вместе с поэтом Риммой Казаковой на кладбище Хуаншань в Харбине я нашла старую, отбитую с края могильную мраморную плиту.*

Кантор главной синагоги  
свободный художник  
Соломон Моисеевич  
Златкин  
умер 24 ноября 1953 года  
17-го кислов 5714 г.

*Соломон, я нашла тебя! Шалом!*

*Мы теперь — вместе.*

*Мы теперь — одна семья.*

Арона Златкина, бывшего члена ВКПб (с 1918 года), арестовали 11 сентября 1937 года. Почти через месяц после смерти жены.

Во время обыска при понятых — дворник Наиль Чибилляев и соседка Клавдия Тырпеткина — конфисковали паспорт, военный билет, профсоюзный билет, фотоаппарат неизвестной фирмы за номером 793394, журналы «Большевик» №№8 и 3 за 1937 год, письма от отца, проживавшего в Харбине, пишмашинку «Ундервуд» с большой кареткой и фотографический портрет А.И. Рыкова.

Арона определили в Бутырку.

На допросе виновным себя не признал, но подтвердил свои связи с «врагами народа»: с «подлецом и мерзавцем» Рыковым А.И., приходившимся ему зятем, с ранее осужденными ярыми троцкистами Роговым, Черных, Кузьмичёвым, а также с братом Златкиным Л.С., «японским шпионом, террористом и предателем родины», и, конечно, с родителями, проживающими за границей, в Харбине.

Эти сведения полностью совпали с показаниями свидетелей: бывшего сослуживца по продовольственному тресту «Чаеуправление» т. Голодухина И.В. и соседей — т. Задирного П.С., утверждавшего, что арестованный враждебно настроен к политике коммунистической партии и советской власти, и т. Тырпеткиной К.М., которая неоднократно сигнализировала о подозрительных личностях, посещавших Златкина, и зашифрованных разговорах по телефону, о спекуляциях валютой и заграничными вещами.

Из выписки протокола Особого Совещания при НКВД:

*«Златкин А.С. из семьи служащего религиозного культа — за контрреволюционную деятельность заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемь лет, считая срок с 12.9.1937».*

Арон подал жалобу, в которой писал, что осужден крайне несправедливо и преступной деятельностью никогда не занимался. Да, были некоторые ошибки, и он понес соответствующие наказания, но его ошибки *не могут и не должны* квалифицироваться как преступные контрреволюционные действия, которых он никогда не совершал. И в конце приписал, что любит Родину, предан партии и советской власти и врагом народа *быть не может*, так как с 16 лет связан с коммунистической партией.

Он просил о пересмотре дела и полной своей реабилитации.

В конце января 1938 года с первым отходящим этапом политзаключенного Златкина отправили на Печорский Север, в Ухтпечлаг, в Чибью, расположенный в устье небольшой таежной речки Чибью, притока реки Ухты.

Обычно перед этапом разрешали свидание с женой. Но жены у Арона не было. В назначенное время Лена принесла в чемодане теплые вещи: пальто, пиджак, шерстяной свитер, шарф, ушанку, теплые носки и варежки, две смены нижнего белья и ботинки с галошами.

Каждому заключенному выдали на руки извещение, где в аббревиатуре зашифрованы обвинение и соответствующая статья уголовного кодекса. Эту формулировку надо было заучить так, чтоб от зубов отлетала в любое время дня и ночи.

— Фамилия?

— Златкин Арон Соломонович. 1902 года рождения. Статья К.Р.Т.Д. 8 лет. Начало срока 12.9.1937.

На первый взгляд Чибью выглядел обжитым поселком среди непроходимой темнохвойной тайги, глухой ко всему человеческому. Тайга охраняла вверенный ей контингент куда надежней трехметровых заборов из кольев и колючки. Зеки — политические вперемешку с раскулаченными, бытовиками и урками — жили в одноэтажных деревянных бараках с дырявыми крышами и выбитыми окнами. Большая часть прозябала в хлипких хибарках, коченела и давала дубаря в землянках или на двухэтажных нарах в промерзавших насквозь парусиновых палатках — по 250 человек

в каждой. Спали не раздеваясь, в шапках и рукавицах. Многие не доживали до короткого лета, наспех согревавшего отмеченную вечной мерзлотой, заболоченную землю и всех, кто на ней.

Как лагпункт Чибью возник в начале 30-х, сюда на баржах доставили несколько этапов заключенных — так называемая «Ухтинская экспедиция ОГПУ» — для разведки недр в Ухтинско-Печорском бассейне. Страна нуждалась в каменном угле и нефти, которую местные скважины качали еще с XVIII века. Лагпункт быстро разросся, получил статус рабочего поселка, и лагерную власть сменила власть гражданская. Вскоре удалось открыть несколько нефтяных и угольных месторождений и минеральные источники, богатые солями радия. Образовался Ухтпечлаг, или «Ухто-Печорский трест ОГПУ» — одно из крупнейших в СССР горнодобывающих предприятий.

Это был успешный и перспективный проект освоения малонаселенных районов европейской тайги и тундры, превращения их в оазисы социализма на Крайнем Севере под стать оазисам в Голодной Степи и пустынях Средней Азии. Освоение новых территорий и добыча полезных ископаемых для народа шли за счет использования того же народа, ставшего дармовой рабочей силой. Не зря исправительно-трудовые лагеря называли истребительно-трудовыми лагерями.

Политзаключенный Арон Златкин прибыл в Чибью — уже столицу Ухтпечлага — в жестокое время. Но других времен здесь не знали. Через три месяца, в марте 38-го начались массовые казни политзаключенных, известные как «кашкетинские расстрелы», по фамилии чекиста Кашкетина, придумавшего самый короткий сценарий кровавого триллера: под предлогом перевода в другой лагерь зеков — по 60 человек — вели через болотистую тундру, в засаде их поджидала расстрельная команда со станковыми пулеметами. Более трех тысяч убитых. Пригодное лагерное обмундирование аккуратно снимали, составляли опись, упаковывали и отправляли на склад.

В мае 39-го Ухтпечлаг закрыли. На его базе появились четыре новых ИТЛ.

Арон попал в лагпункт Ветлосян, поблизости от Чибью. В Ветлосяне, куда направляли стариков, больных и доходяг, его определили в лазаретную команду. Это был подарок судьбы. И Арон мысленно поблагодарил Кантора. Ведь именно Кантор настоял, чтобы по окончании гимназии Арон пошел в ученики к самарскому аптекарю Шейну. И потом в армии Арон служил помощником фармацевта при полковой аптеке. И здесь, в Ветлосяне, фарт, фортуна повернулась к нему лицом.

Всевышний или папочкины молитвы?

Арона приставили к туберкулезникам, которых, как могли, изолировали от остальных. Для туберкулезников отвели два деревянных барака, сильно углубленных в землю. В каждом выгородили по две палаты с печками и керосиновыми лампами. В палате 20 больных на топчанах, впритык стоявших друг к другу. Состав больных менялся почти ежемесячно. Умирили не только от туберкулеза, но и от дистрофии, пеллагры, пневмонии. Щи из молодой крапивы, сосновый настой, чай из кипрея с шиповником, лесные грибы-ягоды ненадолго продлевали мучительные будни, ничем не похожие на дни, обещавшие счастье и оставшиеся на воле, где кипела, казалось, бессмертная жизнь. Хоронили тут же, неподалеку, на Ветлосянском кладбище. Кого-то в общих ямах, кого-то в могилах.

Однажды произошло чудесное событие: после сильного многодневного снегопада, довольно редкого в тех местах, Арона с бригадой послали в Ухту на расчистку улиц. Первый выход на волю!

Бывший лагпункт Чибью вырос и превратился в образцовый соцгород, точно срисованный с агитплаката: теплые бревенчатые дома для вольнонаемных и ссыльных, школа, горный техникум, метеостанция, клуб-театр, универмаг, столовая, стадион, суд, гостиница. Красиво, местами даже затейливо и с излишествами: колонны, балконы, балюстрады. В Ухте действовали водопровод, канализация и радиосеть. А на

площади — Арон протер слезившиеся глаза — в сгущенном молоке тумана парила белая цилиндрическая с колоннадами башня, общим обликом напоминавшая легендарный Дворец Советов, который планировали воздвигнуть в Москве, на месте храма Христа Спасителя. Башня, правда, совсем не грандиозная и даже без статуи вождя революции, больше смахивала на ученический макет, выполненный в заданном масштабе. И здесь, в Ухте, она казалась призраком, далеким эхом, фантомом из несостоявшейся жизни, такой манкой на мечты и щедрой на надежды.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», — гремел из репродуктора на столбе жизнеутверждающий марш.

Боря Иофан? Неужели и ты? И ты где-то здесь? И здесь тебе позволили построить Дворец? — Слезы застревали в сухих руслах морщинистых щек, стояли в глазах, зависали на кончике длинного отороженного носа.

— Какие роскошные виллы ты построил в Риме! Мы тогда специально освоили «маршрут Иофана». Ты обожал барокко и рассказывал о нем в захлеб. Рыков и Нина, а потом уж и мы с Ритой звали тебя «синьор Барокко». А потом... было еще какое-то итальянское слово, другое... и это не имя. Смешное словечко, как детская дразнилка. Забыл. Но мы все так хохотали... При этом уплетали макароны с тертым пармезаном. Неужели и сейчас кто-то ест макароны с пармезаном? И пармезан не запрещен? — Арон громко сглотнул и, чуть не подавившись от спазма, застонал и схватился за кадык. — На языке крутится, а сказать не могу. Да-да, мы все ужасно хохотали и перекидывались этим словечком, как теннисным мячиком. Забыл, напрочь забыл. Что же оно означало?

*В июне 1940-го Арон умер.*

*Через 17 лет, в 1957 году дело А.С.Златкина было направлено на проверку по обоснованности материалов, послуживших основанием к аресту. Заявление на пересмотр дела написала его дочь Нина, проживавшая в украинском городе Белая Церковь. Через год Нина получила справку о полной реабилитации отца.*

*На сайте «Репрессированная Россия. Книга памяти» есть лишь краткая и неточная информация о гражданине Златкине Ароне Соломоновиче: без определенных занятий. Расстрелян в 1936 году.*

*Рядом немного подробнее о его младшем брате, гражданине Златкине Льве Соломоновиче, 1910 года рождения, уроженце г. Самары, беспартийном, с высшим образованием, конструкторе электротехнического института (опытный завод), из семьи служащего религиозного культа, проживавшего в Харбине.*

*Дата ареста — 16 сентября 1936 г.*

*Статья — по обвинению в шпионской и диверсионной деятельности в пользу японской разведки.*

*Приговор, административное решение — расстрел.*

*Место расстрела — Москва, Донское кладбище.*

*Дата расстрела — 25 декабря 1936 года.*

*Полтора года назад я послала запрос в Центральный архив ФСБ. Пишу, мол, книгу о своих родственниках, репрессированных в 1930-х годах. Очень нуждаюсь в архивных материалах и документах.*

*Моя семейная сага — это история нескольких поколений семьи в контексте грандиозной истории СССР с трагическими судьбами отдельно взятых, разбросанных по миру советских людей, в том числе и большевиков — в диапазоне от рядового «винтика» до Председателя Совнаркома. Не ново. Давно не ново. И слава богу, что старо.*

*Мои герои — моя родня.*

*И, наверное, звезды так сошлись, мне выпала участь узнать и написать о них, вызволяя из небытия, возвращая из прошедшего времени в настоящее, вводя в круг сегодняшней моей семьи, друзей и знакомых, и моих читателей.*

*Ровно через месяц пришло ответное письмо с указанием архивов и номеров уголовных дел: в Государственном архиве — дело Арона Златкина, в Центральном архиве ФСБ — дело Льва Златкина.*

*В Государственном архиве работала на подъеме. Захватывающая панорама первых десятилетий кипучей советской жизни, крутизна сюжетов и событий, масштабичностей и судеб Рыкова и Арона, их верных жен — Нины и Риты, роль харбинского Кантора, в том числе и в моей жизни, вдохновляли и требовали глубокого погружения, осмысления и действий.*

*С уголовным делом Льва Златкина оказалось непросто.*

*«Как только дело будет рассекречено, мы вам сообщим», — так закачивалось письмо из ФСБ.*

*Подумалось, какая корректная форма типового отказа! Если за более чем 70 лет дело не рассекречено, то и сейчас, значит, еще не время.*

*Однако с выводами я поторопилась.*

*Через полгода меня пригласили в читальный зал Центрального архива ФСБ для ознакомления с рассекреченным делом Льва Златкина.*

*Архив найти оказалось нелегко, хотя адрес известен. Меня буквально ввели в заблуждение проходы в старинном подъезде и необычные разветвления лестницы, одна из которых упиралась в тупик. С трудом найдя дверь — без вывески и всяких намеков на учреждение, я позвонила. Щелкнули замки, цепочка, и высунулась голова молоджавого гладкого мужчины домашнего вида:*

*— Вам кого?*

*— Я в читальный зал. Здесь архив ФСБ?*

*— С какой стати?*

*— У меня письмо. И приглашение.*

*— И кто приглашает?*

*— Сейчас скажу... письмо от Иннокентия Борисовича.*

*— А-а, так это я. Заходите, пожалуйста.*

*Читальный зал выглядел опрятной комнатой со столами, знакомыми с детства по нашей районной библиотеке. Фигуры, «декабристы», рыбки в аквариуме.*

*Иннокентий Борисович любезно выложил передо мной небольшую горку папок:*

*— Не пугайтесь. По вашему родственнику не много. Дело групповое, но он — не главный фигурант. За день одолеете.*

*Мои догадки, что Льва Златкина в итоге обвинили в промышленном шпионаже подтвердились. Как и то, что взяли его формально будто бы за деньги, которые Кантор с оказией посылал на обустройство Лёвы в Москве и на повседневные расходы семьи Арона. Но кто поверит? Кто подтвердит, что посылал именно Кантор? Большие деньги, значит, за большие услуги. За какие? Конечно, шпион. Может, даже резидент: работает на закрытом заводе, продает иностранцам секреты, недавно из Харбина.*

*В Москве и в стране развернулась кампания против выходцев из Харбина. Их отслеживали и арестовывали как японских шпионов и диверсантов.*

*Не зря Клава Тырпеткина, хоть и шепотком, но разносила по соседям:*

*— Стопроцентный японский шпион. Их тут целая шайка-лейка. Готовили взрыв на секретном заводе. И Лёва — за главаря. Выбрал самый главный цех, где хранился кислород. Мало этого, приглядывался и к соседнему цеху. В общем, хотел весь завод взорвать, потому как завод этот — военный, стра-те-ги-ческий. Но наши — бдительные. Вовремя разоблачили. Что тут попишешь? И Лёва во всем признался. Во как! А с виду вроде на человека похож, даже симпатичный...*

*И откуда Клаве Тырпеткиной было все известно, если сам Лёва узнал о шпионских страстях только на допросах на Лубянке?..*

*Он всё понял. И со всем согласился.  
Так же как это сделал Рыков — через два года.*

*Входя во двор Донского монастыря в Москве, я озираюсь по сторонам: сколько невинно убиенных, расстрелянных, мучеников... И святое, и кровавое — всё смешалось, всё здесь — у этих монастырских стен, на этой оплаканной земле и в намоленном воздухе.*

*В 1956 году по делу Л.С. Златкина и еще нескольких человек из Харбина была проведена проверка, в ходе которой обвинения в шпионской и диверсионной деятельности подтверждения не нашли. Дело прекращено за недоказанностью.*

*Что знал о судьбах Арона и Лёвы их отец Соломон Златкин, переживший сыновей почти на восемнадцать лет? Как жил с этим печальным знанием бывший кантор Главной синагоги Харбина, уволенный за нежелание отказаться от советского паспорта и перейти на положение эмигранта?*

*Что удалось узнать мне?*

*Только горькую малость про Арона и Риту, про Лёву, про Рыкова, Нину и их дочь Наташу, которая провела 18 лет в лагерях и ссылках, выжила, добилась полной реабилитации своих родителей — Рыкова полностью реабилитировали лишь в 1988 году — и написала большую книгу о них, железных большевиках, и о своей жизни.*

*О Борисе Златкине, затерявшемся в Баку, известно, что жил на площади Свободы и был инженером-химиком на предприятии «Азнефть». И все. Госархив Азербайджана не откликнулся на мои запросы.*

*Вспомнился шольский день моего детства в Ногинске. Кодиной соседке из бывшего купеческого особняка напротив, превращенного в обычную советскую коммуналку, приехала внучка из Баку. Эта новость мухой облетела всю нашу Советскую улицу.*

*После обеда дворовую ребятню — нам лет по десять-двенадцать — позвали в гости, велели вымыть руки под ручкомойником и усадили за стол с бархатной зеленой скатертью. Потом торжественно разрезали, нет, пожалуй, разломали на большом керамическом блюде диковинные фрукты: багряные бакинские гранаты, чьи зерна, как капельки крови, тесно сплелись, почти слились в белых матовых соках.*

*Мы росли на антоновке, на крыжовнике, на вишне. И никогда не видели гранатов — этих плодов из библейского, как нам пояснили, райского сада.*

*До сих пор не забыла тот вкус.*

*Как не забыла, что девочку из Баку с белыми глазками и вихлявшимися по спине черными косицами, звали Людочка Златкина.*